Борьба
мифов
4

ПЕРИОДСЕКТОР КНИГОЦЕНТРА
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

ЖУРНАЛ В СИСТЕМУ КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЫ

КОМСОМОЛЬЦЫ и КОЛЛЕКТИВЫ ВЛКСМ

Организуйте широкую пропаганду журналов!
Используйте их во всей практической работе ячеек!

ЖУРНАЛЫ:

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

Ежемесячный журнал интернационального воспитания молодежи и международного юношеского движения.
Подписка на 1931 г. принимается с 1 апреля.
Подписная цена до конца года—3 руб., на 6 мес.—2 руб., на 3 мес.—1 руб.
Отдельный номер—40 к.

ЮНЫЙ КОММУНИСТ

Руководящий политико-теоретический двухнедельный журнал ЦК ВЛКСМ.
Подписка на 1931 г. принимается с мая мес.
Подписная цена на 6 мес.—3 р. 25 к., на 3 мес.—1 р. 65 к. Отдельный номер—45 к.

ЯЧЕЙКА

Ежедекадный орган ЦК ВЛКСМ по вопросам работы ячеек комсомола города и деревни.
Подписка на 1931 г. принимается с июля мес.
Подписная цена на 6 мес.—1 р. 25 к., на 3 мес.—65 к.
Отдельный номер—10 к.

ЗА ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ УЧЕБУ

Журнал дает руководящий материал по организации и методике комсомольского политобразования.
24 №№ в год. Подписка на 1931 г. принимается с мая месяца. Подписная цена до конца года—2 р. 65 к., на 6 мес.—2 р. 25 к., на 3 мес.—1 р. 25 к. Отдельный номер—20 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех магазинах, отделениях и киосках КНИГОЦЕНТРА, у комсомольских организаторов подписки, в организациях СЕВЗАПСОЮЗА и на почте повсюду.

Борьба Миров

1931

№ 4

АПРЕЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ГЕВОЛЮЦИОННОЙ РОМАНТИКИ, СОЦИАЛЬКОЙ ФАНТАСТИКИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Стр.

С. Безбородов — За что Томас Монгер получил орден „Трудового Красного знамени" . . 2
Иллюстрации худ. В. Щеглова

Ганс Мархвитц — Борьба за Эссен 16
Иллюстрации худ. С. Первунинского

С. Марвич — Вожди, которые говорили шопотом 24
Иллюстрации худ. Н. Кочергина

Л. Григоров — Призрак 34
Иллюстрации худ. В. Богдановича и И. Сегал

Арк. Поневежский — Университеты Пауля Гертинга 48
Иллюстрации худ. И. Каплан

С. Хмельницкий — Необыкновенные приключения 53
Иллюстрации худ. И. Ец.

Розен — Кровь на улице Мира 71
Иллюстрации худ. Б. Нечаева

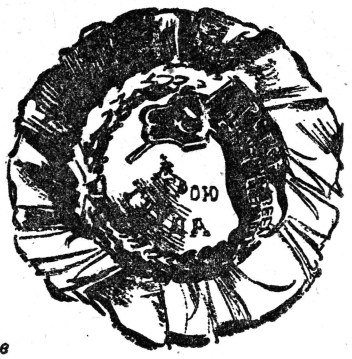
„ — Ордена Гитлера . . . . . .
Иллюстрации худ. Вс. Лебедева

Обложка (к рассказу „Университеты Пауля Гертинга") худ. **И. Каплан**

Рукописи, присылаемые в редакцию журнала, должны быть четко переписаны на одной стороне листа. К рукописи необходимо прилагать точный адрес автора.

Адрес редакции: Ленинград, Проспект 25 октября, 28

ЗА ЧТО ТОМАС МОНГЕР ПОЛУЧИЛ ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ



С. Безбородов *Рис. В. Щеглова*

1. Вечерний выпуск „Дейли Мейль"

С его приездом в кабачке на набережной адмирала Нельсона каждый вечер стали собираться старые приятели. Им очень хотелось послушать человека, только что прибывшего из страны большевиков.

— Неужели вы опять вернетесь туда по окончании командировки? — с недоверием спрашивали они.

Томас в ответ хохотал, раскрывая огромную пасть.

— Конечно вернусь. В Москве отличный климат. Ни разу у меня не было инфлуэнцы за все эти полтора десятка лет, — и обращаясь к тощему Чарли: — А помнишь, Чарльз, как я страдал от нее, проклятой, когда мы вместе коптились в прокатке у Вебб Томпсона?

Старые приятели качали головами и не спеша пили из стеклянных кружек черный, горький и дымный портер.

— Не знаю, не знаю, — говорил один из них, пуская ноздрями дым и задумчиво глядя в потолок, — не знаю, может быть, климат и хороший — отчего ему быть плохим? — ведь климат не делают люди. А вот жизнь, Томас, какова жизнь? — И друзья опускали кружки.

...В этот вечер Томас пришел в кабачок раньше всех. Он играл в домино, шумно выражал свой восторг несообразительностью противника и громко хлопал костями. Большой опал на его пальце отливал под лампионом молочной, перламутровой кровью.

Размахивая вечерним выпуском „Дейли-Мейль", выражая всем своим обликом бурный восторг, спешил между столиков тощий Чарли.

— Томас, — кричал он, — старичина Томас, поздравляю тебя! — И, добравшись до игроков схватил руку Томаса и стал трясти ее, спутав змейку домино. Кругом задвигались стулья.

— Нет, посмотрите на него, — кричал Чарли, — сидит и играет в домино? Каков старый плут!? И молчит, притворяется, что он тут ни при чем.

— В чем дело? Что за крик?

— Он не знает?! Нет, каков?! Он не знает в чем дело?! — выкрикивал Чарли. — Хорошо, я понимаю, что приятно без конца слушать такие вещи. Я читаю, — и обратившись в сторону стойки: сегодня за все платит Томас Монгер, — он развернул вечерний выпуск, обвел притихших людей торжественным взором и прочел, отчеканивая слова:

Москва. Агентство Гаваса.

Сегодня опубликовано новое постановление ЦИК СССР, награждающее высшим орденом большевист-

ской России целый ряд рабочих и специалистов промышленности, за их особую работу по выполнению пятилетки. Среди награжденных — британский подданный Яков Томас Монгер. Относительно последнего в декрете ЦИК СССР говорится:

„За выдающуюся ударную, образцовую и рационализаторскую работу, содействующую выполнению и перевыполнению промфинплана, президиум ЦИК СССР награждает орденом „Трудовое красное знамя Союза ССР" Монгера, великобританского подданного, заведующего листопрокатным цехом завода „Серп и молот", своей исключительной рационализаторской работой давшего большую экономию производству".

— Ну? — торжествующе спросил Чарли,—что же ты молчишь, старик?

Томас Монгер, действительно, молчал. Огромное его тело даже как будто немного согнулось, точно под большой тяжестью.

Кругом зашумели и замахали руками.

— Браво, Томас! Алло, старичина!

— Он как будто, действительно, ничего не знал.

— Ай-да старик!

— Какой он старик, он нас с тобой переживет.

— Да здравствует кавалер Монгер!

...В этот вечер последними ушли старики. Они шли по набережной адмирала Нельсона тесной кучкой.

— Ну, счастливого пути, старина.

— Не забывай нас.

— Кто знает, — сказал один, понижая голос, — может быть и в самом деле в этой загадочной стране... — Он замолчал, покрутил головой и развел руками. — Мы слепы, мы ничего не видим, а в уши всякий звук лезет без спроса...

...Через день Томас Монгер выехал из Великобритании. На дне его чемодана лежал тщательно свернутый номер вечернего выпуска „Дейли-Мейль".

Двадцать с лишним лет назад он тоже плыл через Ламанш. Так же уходили в туман очертания родного острова и долго преследовали маленький пароходишко какие-то шустрые морские птицы с длинными и острыми крыльями. С тех пор прошло не двадцать лет. С тех пор прошло лет двести: такая необъятная жизнь прошагала за эти годы перед глазами Томаса Монгера.

И вот теперь огромный, тучный мужчина с лицом Честертона, в отличном дорожном костюме, снова стоял на борту маленького суденышка, резво перебегающего пролив. Томас Монгер, как и в первый раз, уезжал из родной страны в далекую и загадочную землю. И не было в его сердце смятения.

Кругом зашумели и замахали руками

Европа вышла из тумана сразу.

2. Черные годы

ДА, 22 года назад он впервые приехал в Россию.

Завод „Гужон" стоял рядом с железнодорожным полотном, уходившим из Москвы в дебри необъятной страны. За заводом уже начинались поля, пустыри, пустыни. С за-

водского двора виднелись старинные колокольни Андроньевского монастыря. По вечерам там звонили протяжно и тоскливо.

Все было непонятно — и пустыри за заводом и эти колокола. Пониже завода текла тонючая мелкая Яуза. Вода ее была вечно покрыта, точно лишаями, жирными пятнами радужной нефти. Вечера в заводской слободе, в этой кучке испуганно сбитых гнилых домишек, стояли черные и скучные.

Яркий свет фонарей и храп рысаков не долетали сюда. Над слободой стояло неживое сияние мартеновских печей. На черных улицах пиликали гармошки и отчаянные страшные голоса пели про пьяную удаль и про печаль.

Томас Монгер работал вальцовщиком. Рядом с товарищами по труду он должен был неподвижно стоять в пролетах гулкого дымного цеха. В золотых одеждах, с распущенными волосами, окруженные детьми в парчевых длинных хитонах, в клубах благоуханного синего дыма, в мерцании тоненьких теплых свечечек служители чужой религии пели и славили чужого бога. Рабочие стояли черные и замкнувшиеся в себя. Крестились и кланялись прокатным станам. Под потолком, в тумане незабудкового дыма, копошились и махали крыльями голуби.

Молились долго. Монгер с тоской думал об остывающих печах, о бездельничающих валах.

Растрескавшимися от жара печей губами целовали тяжелый золотой крест. Черные, закопченные, в заскорузлых от несмываемого обильного пота рубахах, искаженные и молчаливые рабочие проходили мимо сияющего золота священнических риз. И не живыми, не человеческими казались белые, в легоньких волосиках руки, державшие целуемый черными губами крест.

И только когда гигантский маховик начинал, сначала медленно и неуверенно, ворочать исполинскими своими пальцами; когда лязгая и громыхая двигались в путь валы; когда буйное радостное, во весь опор, вылетало из печей пахрастое, с космами бурого дыма пламя; когда грохот и гам ударял по ушам огромным кулаком листопрокатной, — к Томасу Монгеру возвращались вновь его спокойствие и его уверенность.

Это уже было почти как в Англии.

К Томасу скоро привыкли и шли с охотой и без стеснения за советом, помощью и указанием. Он не знал ни одного слова по-русски. Но труд имеет общечеловеческий язык, доступный и простой. В листопрокатном отлично понимали англичанина, и он все понимал. Он учил каждого, кто подходил к нему. Мастера материли его и грозили кулаками, а Монгер становился втупик от этой ненависти.

— Разве я не должен учить тех, кто не знает? — спрашивал он себя и по вечерам отыскивал соответствующие параграфы в контрактационном договоре. — Да, должен. Обещал учить и передавать свой технический опыт.

Он не торговал знаниями, как это делали все, кто знал или делал вид, что знает. Он отдавал их радостно и безвозмездно, если видел, что без его знаний не справиться с делом. А он это видел на каждом шагу. Он видел огромную пропасть, отделявшую инженера от мастера, мастера от рабочего. Он с тоской и тревогой наблюдал, как бились и гибли одни люди у печей, а другие стояли рядом и не вынимали рук из карманов.

Он видел, что знания цепко захвачены кучкой привилегированных людей, не желавших безвозмездно и легко расставаться со своими знаниями. Он наблюдал бессовестную спекуляцию опытом, глазомером, невежеством, выдаваемым сплошь и рядом за науку.

Все это он видел, но не знал, что по-русски это называется „мастеровщина“, и едва ли уж он догадывался, что такова природа капиталистического производства, основанного на развернутой и всеобъемлющей эксплоатации человека человеком.

Томас Монгер просто и сильно, в полном соответствии со своей природой, плыл против течения.

...Империалистическая война повымела людей из цехов за ода „Гужон". День и ночь шли мимо заводских корпусов эшелоны. В Андроньевском монастыре звонили с утра до вечера: на войне убивали много и со знанием этого дела.

Все чаще и чаще служили молебны в листопрокатном. У ворот завода, обжигая копыта о мерзлую землю, плясали лохматые казачьи лошади. Иногда исчезали люди от печей или станов. И тогда на вопрос англичанина одни пожимали плечами и отводили глаза в сторону, пряча в душистых усах какие-то странные улыбки, а другие—хватали за локоть и начинали что-то поспешно говорить, сверкая глазами и заглядывая в душу.

Но Томас Монгер не знал русского языка. Язык труда он знал отлично,— но он не знал языка борьбы.

3. Приезжай к нам, в Москву.

В 1915 году Монгер поехал в Екатеринослав. Капиталисты договорились между собою: Гужон посылал опытного мастера на завод Шадуар ставить там прокатку белой жести.

Версты торопливо бежали мимо окна. Казалось, никогда не будет конца этой стране: нищие деревни на пустых заброшенных полях, грязные городишки, леса.

И когда он вошел в листопрокатный цех Шадуара, ему на мгновение показалось, что он никуда не уезжал из Москвы. Он увидел те же замкнутые, с поджатыми губами, лица, те же облупленные от жара носы, те же фуражки и галстуки инженеров. Увидел тот же страшный рабский труд у огнедышащих вулканов печей, к которому он присмотрелся и перестал замечать на „Гужоне".

От взоров Монгера — иностранца и работяги — были скрыты многие знаменательные явления и симптомы. Вот почему на него, не выходившего из самой гущи рабочих цехов и плотно приклеенного к пролетариату, революция свалилась, как землетрясение.

Он принял ее с наивностью огромного ребенка. Страшно фальшивя и перевирая трудные русские слова, он во все свое горло распевал „Варшавянку" в колоннах февральских демонстрантов. Он произнес даже речь на огромном рабочем митинге о необходимости профессионального объединения пролетариев, и красный его платок в зеленых пятнах высморканного табаку летал над толпой, как знамя.

Получив карточку члена профсоюза, он окончательно почувствовал себя связанным с этими пролетариями и проходил недолгие месяцы до октября словно в чаду.

Конечно Томас Монгер не разбирался в тонкостях политической борьбы, в оттенках общественной мысли, в платформах и программах партий. Он видел своими голубыми глазами революцию в показавшейся ему навсегда заснувшей и закабаленной стране и он радовался этой революции и приветствовал ее. С изумлением и восторгом очень экспансивного человека он вдруг обнаружил, что рабочие — совсем не те, кем они ему казались. Он оказался лицом к лицу с поднявшимся на дыбы классом, и это зрелище не могло не восхищать его, воспитанного на традициях умеренного либерализма, но все же носившего в своих жилах кровь потомственного пролетария. Он уже совсем было собрался прочно осесть в Екатеринославе, когда однажды ему передали толстый конверт с корявыми буквами адреса и смазанным почтовым штемпелем—„Москва". Томас долго осматривал со всех сторон толстый конверт, прежде чем распечатать его.

— „От имени рабочих бывшего завода „Гужон",—по складам с огромными трудностями, шевеля толстыми губами, читал Монгер,—от имени рабочих мы просим вас, уважаемый товарищ мистер Монгер, вернуться на наш завод. — Томас поспешно достал табакерку и втянул струю зеленой табачной пыли. Руки его дрожали.

— Вы, конечно, знаете, что мы прогнали всех капиталистов и фабрикантов, что мы, русские пролетарии, отобрали у них все предприятия, потому что они наши, а не ихние. Нам теперь очень даже трудно. Особенно без специалистов, т. к. многие из них разбежались или отсиживаются по домам, не желая работать на пролетариев.

Мы слыхали, что вы, мистер Монгер, не в пример другим и русским и иностранным специалистам, не только не занимаетесь саботажем, а, наоборот, работаете и хотите дальше работать с нами. Так приезжайте же к нам в Москву, будете у нас заведующим листопрокатным цехом, т. к. инженер сбежал и заведывать цехом некому".

Монгер уложил чемоданы.

Надо ехать. Разве можно не ехать, когда его зовут, когда без него остановилось дело.

Поезд шел до Москвы две недели.

4. Картошка

ЭТИ годы в истории нашей революции записаны под черными заголовками бедствий.

1918 год. Продолжение неурожайного 8-летнего периода, начавшегося в 1917 году.

Раскрытие заговора правых эсеров. Восстание левых с.-р. Измена главнокомандующего Чехо-Словацким фронтом Муравьева. Мятеж в Ярославле, организованный савинковским „Союзом защиты родины и свободы". Организация эсерами крестьянских восстаний в Тамбовской губернии. Убийство Урицкого и Володарского. Покушение на Ленина. Восстание рабочих на Урале, организованное меньшевиками.

.. На полу цеха раскладывали костер

В июле 1918 года совсем опустел листопрокатный цех: во главе с вальцовщиком Арсением Гладышевым ушли рабочие в Ярославль, на подавление савинковского мятежа.

Томас Монгер, заведующий листопрокатным цехом, осмотрел оставшуюся свою „армию". Армия была кучкой изголодавшихся и истощавших рабочих.

Над Москвой стояли черные ночи. Качающимися тенями блуждали по улицам одинокие пешеходы. Трупы павших лошадей за ночь растаскивали нето собаки, нето люди.

Все ушли на фронт.

На заводе неделями стояла пугающая тишина. Редкие рабочие бро-

дили по двору, ковырялись в кучах ржавого лома. Одиноко и звонко стучал где-то молоток или взывала и снова смолкала дисковая пила. И все равно каждый день без гудка собирались в пустынной листопрокатке оставшиеся рабочие. Они приходили, молча рассаживались, делились зеленой, прелой табачной завалью, смотрели, как умирает родной завод. Работать было нельзя. Но когда бы они ни пришли,—англичанин был уже в цеху.

Он был в цеху и день и ночь. Он сторожил цех, ревниво поглядывая и не вынимая руки из карманов, когда под закопченными стропилами появлялся незнакомый человек, оглядывающийся по сторонам. Надо было беречь, караулить оборудование. Томас знал, что так продолжаться не может, что завод должен рано или поздно заработать.

Долго тянется пустой день. В то время, когда обычно полагался обед, на полу цеха раскладывали костер. Синий дым оживлял пустоту. В золе, в угольях пекли считанные картофелины и, сидя на корточках, поедали их без хлеба. Поджаренная шелуха бойко хрустела на зубах.

— Ишь ты,—сочувственно говорили прокатчики, — хоть и англичанин, а тоже картошку понимает.

Картошкой делились поровну.

Потом стали понемножку работать. Сначала принялись за ремонт оборудования. Никто не знает, где и как ухитрялся Монгер доставать нужные инструменты и материалы. Труд оживил людей. Стало веселей, появилась уверенность, что завод пойдет, будет настоящая работа.

Теперь уже гремели молотки и изредка раздавались свист или песня в листопрокатном цеху. В неизменном прекрасном костюме, с хрустящим галстуком и ледяным воротничком, елозил Томас Монгер под станками и в льцами, радостно покрикивая, пилил, бил молотком, нарезал метчиком гайки.

Голод все туже и туже стягивал костлявую хватку на шее выбивающейся из сил страны. Работать стало невыносимо. Зеленые круги ходили перед глазами и в уши наливалась теплая вода, после чего наступало забвенье черного длительного обморока.

— Едем, англичанин, за хлебом?— предложили однажды Монгеру прокатчики, — за хлебом, за картошкой. Шамать,—понимаешь?

— Са хлейбом, са картоушка, — взволнованно закричал Томас.

Это было третье его путешествие. Ехали с рабочим эшелоном московских рабочих. На станциях пилили дрова, брезентовыми ведрами наливали в паровозный тендер воду, там где торчали обгорелые скелеты водокачек. Везли хлеб, картошку, пшено не только для себя, но и для тех, кто остался в листопрокатном караулить отремонтированные станы.

Наконец удалось сколотить бригаду. С огромным волнением, с трясущимися губами запустили один стан. Печь гудела как при большом огне. Красные сияющие листы озарили одичалый цех. Лязгнули валы, пошла работа. Прокатывали железо и Томас Монгер, в синем шевиотовом костюме, голыми руками орудовал клещами складальщика. Работали, как бешеные, забыв про голод. Прокатанные листы резали на кружки определенных размеров. Из кружков потом делали котелки для краснсармейцев, отбивавших страну от контрреволюции.

Сидя у костра и обжигаясь картошкой, рабочие не раз спрашивали Томаса:

— Почему ты не едешь к себе домому, в Англию? Там жизнь у вас, поди, теплая, сытная? А то паек от „Ары“ похлопотал бы?

Коверкая слова, англичанин неизменно отвечал:

— Как вы так и я. Я тоже рабочий. Пролетарий.

Его полюбили крепко.

5. От победы к победе

Остатками рабочих полков возвращались на заводы пролетарии. Один за другим ликвидировались фронты. Революция была

спасена, враги разбиты и опрокинуты.

Арсений Гладышев, рабочий-большевик, вальцовщик „Гужона", вернулся на завод. Вместе с ним пришли и другие.

Томас Монгер ликовал. Старики возвращались в родные цеха, оживал завод.

Началось собирание сил. Наливались густой рабочей кровью совсем было онемевшие жилы завода. Во всех цехах шла великая возня. Завод восстанавливался, счищал с себя коросту ржавчины и одичания.

Вот пошел уже второй стан. Потом третий. Четвертый.

К 1923 году пять станов листопрокатного цеха завода „Серп и молот" работали уже на полный ход. Это был первый цех, полностью восстановивший производство. Это была первая трудовая победа рабочих „Серпа и молота". Томас Монгер нес на своих саженных плечах львиную долю этой победы.

В 1923 году листопрокатный цех дал заводу 7078 тонн. Оборудование было скверное, изношенное, потрепанное, часть наполовину вышла из строя за время войны и революции. Не хватало многих деталей и материалов. Малейшая поломка надолго останавливала стан. Особенно часто хрупали шейки валиков и приходилось, скрипя зубами от бешенства, склоняться перед нищетой и подолгу возиться с ремонтом.

Немало поработал Томас Монгер, чтобы нагрузить полезной работой бездействовавшие из-за этих шеек станы.

Наконец, после никому не известных опытов и вычислений, Монгер предложил для подшипников станов сплав особого состава. Сплав испытали. Он оказался отличным. При подшипниках, заливаемых этим сплавом, шейки валиков работают значительно дольше. От награды Монгер отказался. Он сказал:

— Я работаю не из-за денег. Я обещал делать так, чтобы можно было больше сработать, а стоило чтобы это подешевле. Нет?

— Но вам уже дана премия. Куда же девать эти деньги, раз они уже отпущены?

— Отдайте эти деньги детям наших рабочих. Дети должны много петь и смеяться.

Еще год прошел. Отобрались, отсортировались рабочие кадры в листопрокатном цехе. Он стал одним из лучших цехов завода. Инициатива и энергия Монгера подхватывалась всем рабочим коллективом, и выходило все в листопрокатке лучше, чем в других цехах.

А Монгер уже копался в своей комнате (он живет при заводе) над какими-то схемами и чертежами, уделяя этому попрежнему только минуты, свободные от работы в цехе.

Стране не хватает угля, не достает нефти. Ведь с каждым днем поднимаются на ноги опрокинутые разрухой фабрики, заводы, транспорт.

— Топлива, топлива! — кричит страна.

Не хватает топлива. А здесь, в цехе, бушует ярким расточительным пламенем много печей. Маститый профессор Грум-Гржимайло конструировал эти печи, не учитывая того, что они будут работать на государство пролетарской диктатуры, которое дорожит каждой капелькой нефти, каждой крупицей угля, добытыми руками пролетариев.

Сварочные и обжигательные печи Грум-Гржимайло далеки от совершенства, от рационального использования топлива.

В конструкцию печей мирового ученого Монгер внес свои изменения и поправки. Печи перестали р скошничать. Вместе с экономией топлива увеличилась и их пропускная способность.

Листопрокатка пошла от победы к победе.

В свободные минуты Монгер сидел за чертежами сварочных печей

6. Во весь рост

ЛУЧШЕ всего будет, конечно, обратиться за материалом о личности Томаса Монгера к тем людям, которые очень много месяцев, десятки лет работают с ним плечом к плечу. Заводской комитет завода „Серп и молот" о личности Томаса Монгер пишет так:

„Монгер, плохо говоря по-русски, никогда не пытался в чем бы то ни было убеждать рабочих словами. Монгер всегда убеждал личным примером.

Не ладится у вальцовщик в работа, или вальцовщики не согласны с нормой выработки— Монгер, много не разговаривая, берет клещи и работает за вальцовщика, пока не убедит, что неполадки при умелой работе—устранимы, а нормы вполне реальные.

Жалуются сварщики, что печь плохо работает — Монгер на слово не верит, берет у сварщика ломик и начинает работать за сварщика. До тех пор не успокоится и не отойдет от печи, пока не выяснит причин плохой работы печи.

Неправильно расточены валики — Монгер укажет, как надо расточить.

Для этого человека нет черной работы, которую должны делать рабочие, и беленькой работки для инженеров.

Монгер всегда готов показать, обучить лично молодого рабочего.—„Если не понял, не ладится, — приходи ко мне в контору, покажу. В конторе меня не будет — позвони ко мне домой, приду покажу".

Прогульщик боится Монгеру показаться на глаза, т. к. Монгер никаким объяснениям, кроме болезни, не верит. Монгера можно видеть в цехе и днем, и ночью, и в день отгула, и в праздники. У Монгера правило: „Без своего глаза не оставлять ни одной смены".

Я с трудом поспевал за быстрым и путаным рассказом Томаса Монгера. Страшно искажая слова языка, которому он по-настоящему так и не научился за два десятка лет, он с увлечением рассказывает мне, как чуть-ли не две недели следил и ло-

вил одного лентяя и лодыря, ловко засыпавшего на своем посту.

Рабочее место этого тунеядца было расположено так, что к нему никак нельзя было подкрасться бесшумно, а будучи спрошенным — „Опять спал?“ — прохвост нагло отвечал: „Сами-то вы, видно, спите. Я не думал спать“.

Монгер поставил себе целью поймать „спящего красавца“ с поличным и выгнать из цеха. Много ночей ушло на эту охоту, пока, наконец, пробравшись где-то на лесенке и спустившись на руках за спиной дрыхнувшего лодыря, Монгер не застукал его.

У завкома „Серпа и молота“ есть и еще кое-что порассказать о Томасе Монгере:

„Монгер справедлив. Слово его — закон. Поэтому все рабочие у него равны и нет у него деления на сынков и пасынков. Монгер не поддержит несправедливых расценок.

Всех своих рабочих он знает в лицо, по фамилии. А рабочих больше 400.

Монгер — бережливейший хозяин в цехе. Незначительное увеличение брака, отходов, перерасход топлива, небрежное отношение к инструментам, готовой продукции, снабжение цеха недоброкачественными материалами, сырьем — выводит Монгера из состояния равновесия.

Когда же он оказывается бессильным бороться один-на-один против течения, он зовет на помощь общественность и с ее помощью добивается положительных результатов. И всякое улучшение показателей радует Монгера, как гражданина, сумевшего оказать помощь республике“.

И наконец:

„У Монгера самые лучшие отношения с рабочими, как старшего среди равных, старшего, который благодаря своему авторитету имеет право требовать точного исполнения своих распоряжений.

Он знает силу общественности, знает мощь творческого коллектива, поэтому он не пропускает ни одного общего собрания, ни одного производственного совещания, на всех совещаниях внимательно выслушивает рабочия указания и предложения, сам выносит на суд общественности все неполадки в цеху и твердо и немедленно проводит в жизнь все здоровые рабочие предложения.

Благодаря указанным особенностям работы Монгера ему, с помощью общественных организаций, удалось создать в листопрокатной здоровое рабочее ядро, увеличивающееся с каждым днем, поставившее себе целью — быть лучшими среди производственников не только на своем заводе, но и среди заводов однородного производства“.

Могучий творческий подъем рабочего класса, социалистическое соревнование и ударничество помогли листопрокатчикам, во главе с их мастером Монгер, достигнуть этой цели.

7. День и ночь

Из года в год шла листопрокатная от победы к победе. Неуклонно росла продукция цеха, неизменно перекрывая плановые задания и наметки.

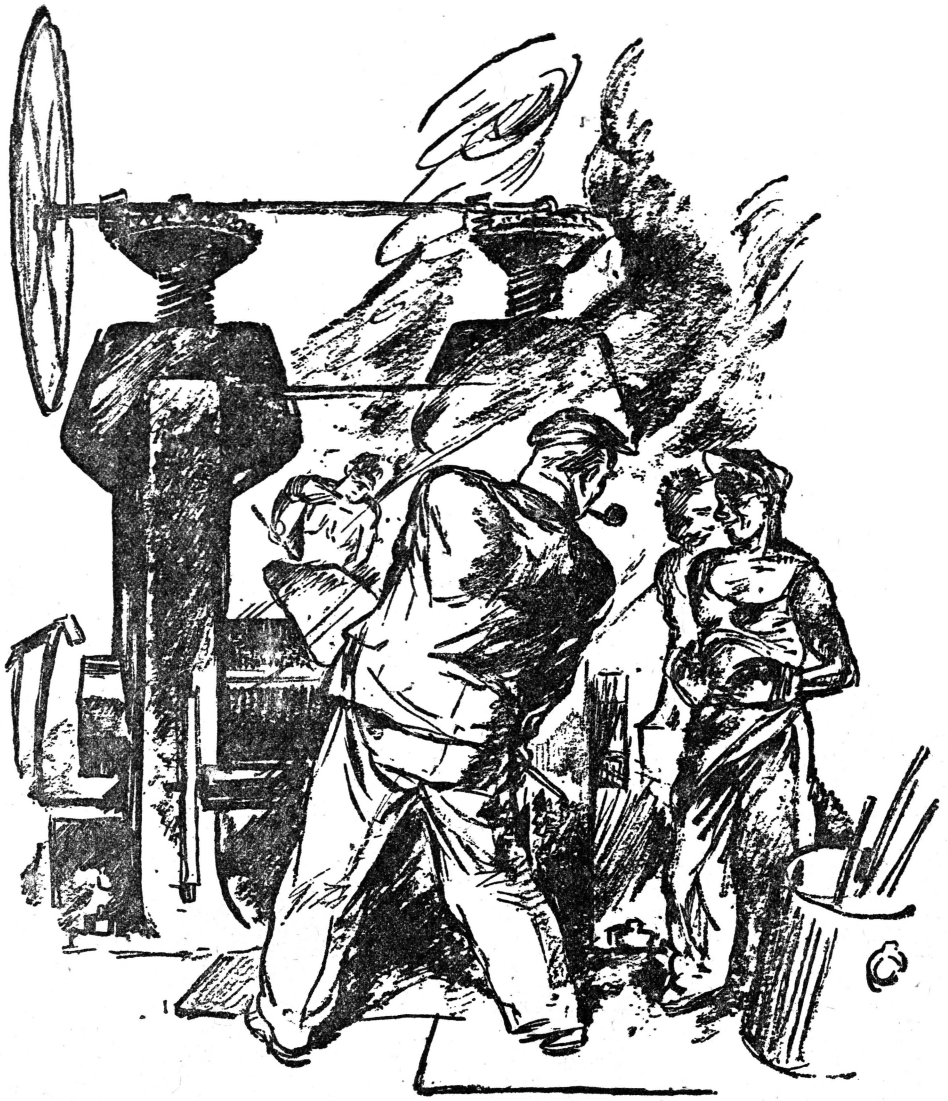
В 1925-26 году было выработано цехом 13.424 тонны продукции. На 1926-27 год для цеха дали цифру 12.420 тонн. Листопрокатчики перекрыли ее, дав — 16010 тонн.

Тогда перед ними поставили новую мишень: дать в 1927-28 году 16 520 тонн прокатки. Год прошел и снова Монгер торжествовал: цех дал 17.603 тонны.

На 1928-29 г. задали цеху солидную цифру уже в 19 тыс. тонн. Цех понатужился и дал 20.643 тонны.

Никакие планы не могли угнаться за творческим энтузиазмом и трудовым героизмом листопрокатки, во главе которой, засучив рукава, шагал громадный Томас Монгер.

На 1929-30 год листопрокатный цех получил задание в 19.200 тонн. Первый квартал 1929 года уже близился к концу, когда вдруг выяснилась страшная вещь: цех, шесть лет шедший впереди и перекрывавший все промфинпланы, выполнил план первого квартала на 94 процента.



До слепой ночи он работал как квасильщик

Упоенные успехами прежних лет, признанные герои, отпустили вожжи трудовой дисциплины. Не редки были случаи, что приходилось отцеплять пятый стан, т. к. некому было работать.

Черный сигнал провала и позора взвился над встревоженным цехом.

Вальцовщик Кудаков, рабочий-большевик, пошел правильной большевистской дорогой. На бюро цеховой партийной ячейки он выдвинул социалистическое соревнование, как новый социалистический метод труда, способный переломить хребет приближающемуся прорыву.

Идея пошла по группам, по сменам.

— Не только ликвидировать прорыв у себя, но и вызвать Лысьвенский (на Урале) завод и завод „Красный октябрь" (в Днепропетровске).

Поход листопрокатки за „дело доблести и геройства" начался 9 апреля. Н. Михайлов, рабочий завода „Серп и молот", рассказывает об этом дне:

— 9 апреля среди чумазых колонн замелькали красные полотнища —

„Привет передовикам социалистического соревнования".

Ранним весенним утром, когда пришла первая смена, был митинг. Сдержанно гудели печи. Под потолком хлопали и возились голуби. Смазчики осматривали подшипники, готовили масленки. Мастера проверяли перед пуском станы. Вальцовщики, сварщики, складальщики стояли в первом пролете в чисто выстиранных рубаха .

Раньше в первом пролете служили молебны покрову богородицы, а сейчас наш зав — англичанин Монгер, безжалостно уродуя слова, говорил:

— Надо, штобы наш цех был первый во всей завод!

Ровно шесть. Сигнальный звонок. Огромный маховик, смахивая с чугунных плеч пыль, качнулся. Перезваниваясь двинулись муфты, запели свою песню валы. Листопрокатка тронулась в путь, на борьбу...

Томас Монгер не бросает слов на ветер.

Если он сказал, что цех должен быть лучшим во всем заводе, для него это в первую очередь значит, что он сам должен быть лучшим во всем цехе. И Томас Монгер в этом героическом походе пролетариев листопрокатки „Серпа и молота" был, действительно, первым в первых рядах.

В самый разгар и накал на квасилке создалась пробка. У станов бригады с яростным героизмом бились за каждую штуку жести. Старики работали с невиданным упрямством, компенсируя таящие, подточенные годами капиталистической каторги силы — опытом и сноровкой. Молодежь напирала с азартом и отчаянием молодости, крепких мышц, точных, упругих движений.

Но тревога ползет по цеху: „Зашьемся. Квасилка угробит".

Раньше всех у станов появляется Томас Монгер, с булазкой, в шелковом галстуке, с огромным опалом на пальце. Пламя печей пляшет в камне.

Томас Монгер спокоен, как всегда. Черная табакерка совершает привычные рейсы из жилетного кармана.

Заведующий цехом до слепой ночи работает как квасильщик, подгоняя себя непонятными английскими ругательствами и пачкая толстый мясистый нос зеленой пылью табака.

И так — каждый день.

И так каждую ночь.

Пока не разгружается квасилка.

Но цех, весь цех, в эти многие дни из-за этого не сдал ни на секунду взятых предельных темпов.

Если раньше рабочие недоумевали, — когда спит этот человек, то теперь никто не мог поручиться, что Томас Монгер ест, умывается, садится на стул, моет руки и набивает табаком лакированную коробочку.

И цех победил.

Победил не только у себя на заводе, заслуженно получив красное переходящее знамя, но и заслужил первое место в соревновании с Уралом и Украиной.

Промфинплан 1929 30 года был выполнен вместо 19.220 тонн на 20,802 тонны жести.

И если листопрокатный цех Лысьвенского завода давал 8,5 тонн продукции в смену, а „Красный октябрь" — 7,5 тонны, „Серп и молот" дал рекордную цифру в 12 тонн.

8. Наш Монгер

НЕЖДАННО случившаяся беда окончательно дорисовала портрет Томаса Монгера.

На общезаводском делегатском собрании в президиум поступило анонимное письмо.

В мертвой тишине предзавкома Новиков прочел следующее:

„У нас в листопрокатке соревнование ведут цехуполномоченный да помощник заведующего. Некоторые бригады не раз обгоняли по производственным показателям Гладышева, а почему-то в конце концов по выработке он оказывался всегда впереди.

В цехе две колонии — английская и русская.

Если твоя рожа не понравится заву-англичанину, то какой бы ты ни был спец — все равно будешь последним".

Через несколько дней 250 листопрокатчиков собрались, чтобы обсудить это подметное письмо.

Выступает один. Выступает другой рабочий. Говорит третий. Тяжелой покосившейся глыбой сидит Томас Монгер. Толстые растопыренные пальцы рук лежат на коленях. Красные пятна горят на заострившихся скулах.

— Слово имеет зав. цехом Монгер.

Англичанин Монгер, великобританский подданный Яков Томас Монгер тяжело поднимается со стула, грузно опираясь на стол руками. 250 листопрокатчиков, русских пролетариев, сдерживают дыхание, чтобы услышать своего начальника — чужестранца.

Сгибается гудящий холм спины. Тишина. Гнется толстая, никогда ни перед кем не сгибавшаяся шея. Тишина. Руки, упертые в стол, сгибаются в локтях и срываются с досок стола. Грузно, словно с подрезанными жилами, Томас Монгер опускается на стул. Тишина.

Раздирщицы концами платков вытирают с шумом носы и всхлипывают. Огромный могучий старик Монгер трясущимися руками выдергивает из кармана платок. Не красный. Белый платок.

Зал снялся с якорей и поплыл в грохоте криков. Васька Романов, беспартийный складальщик, потрясает стены неистовыми криками. Сзади вскакивают со скамеек и кричат, кричат, кричат. Руки вздымаются как мачты.

— Наш старик плачет!!

Секретарь партийного коллектива тов. Гайдуль старается говорить спокойно.

— В письме поливают грязью нашего заведующего. Разве плох тот заведующий, который торчит в цехе по 16 часов, который сам идет работать на квасилку, помогает вести подписку на заем индустриализации? Этот заведующий не может сейчас перед вами сказать ни одного слова — он плачет. — И уже не говорит Гайдуль, а кричит:

— Монгер — наш! Он рабочий. Мы должны его ценить, потому что у нас таких специалистов кот наплакал.

Поздно пустеет столовая.

Наверно никогда, во всю свою жизнь не слышал Томас Монгер столько ласковых слов, как в этот вечер.

9. Одна семья

ОГРОМНЫ заслуги, оказанные Томасом Монгером листопрокатному делу Советского союза.

Он, как мы уже говорили, ввел особый сплав для подшипников листопрокатных и прокатных станов, увеличивающий срок износа шеек валиков. Он разработал конструктивные изменения в сварочных и отжигательных печах Грум-Гржимайло.

Вместо правильного пресса, Монгер ввел для правки жести особую плиту, что экономит ежегодно цеху 6 тыс. руб.

Монгер добился уменьшения с 8 до 5 проц. кислотности при травке железа. Получилась огромная экономия в расходовании дефицитной серной кислоты и купороса.

Сотни лет, до самого последнего времени, точка валов в станине и на станках была секретом специалистов, передававшимся из рода в род. Монгер обучил этому делу мастеров, токарей и рабочих вальцовщиков.

Монгер предложил и применил способ обжига стали без колпаков, что дает экономию 23 руб. с тонны.

И очень многое другое предложил и провел в жизнь Томас Монгер.

Ни одной копейки премиальных не взял он за все эти дела.

— Я считаю себя обязанным делать все это, обязанным изобретать и улучшать производство. Никакого особого геройства в этом не вижу, а потому и не должен получать премии и награды.

Задание ударного квартала цех выполнил на 125 проц.

Первый квартал текущего года закончен цехом не менее блестяще, с превышением заданной программы.

Дружной семьей ударников живет листопрокатный цех. Чутко и внима-

гельно следит он за общественной жизнью страны, немедленно откликаясь на призывы правительства и партии, укрепляя диктатуру пролетариата, борясь с клеветою и грязью, выплескиваемой буржуазией на Советский союз.

На рабочем собрании листопрокатчиков „Серпа и молота" вместе с сотнями вспорхнувших рук поднялась и рука Томаса Монгера. Он поднял свою руку решительно и твердо, как поднимал ее за все эти годы революции, когда дело шло о защите отечества мирового пролетариата, когда речь шла об укреплении страны Советов.

В этот день листопрокатчики голосовали за этот текст письма к рабочим завода Круппа:

„Дорогие товарищи, прокатчики жести и листового железа завода Круппа!

Московские листопрокатчики, обсудив распространяемую во всей заграничной печати клевету о „принудительном труде" в Советском союзе, вместе с листопрокатчиками завода Лысьвы, в количестве 13.700 человек, с возмущением протестуют против наглой лжи, распространяемой всей буржуазной печатью о Советском союзе.

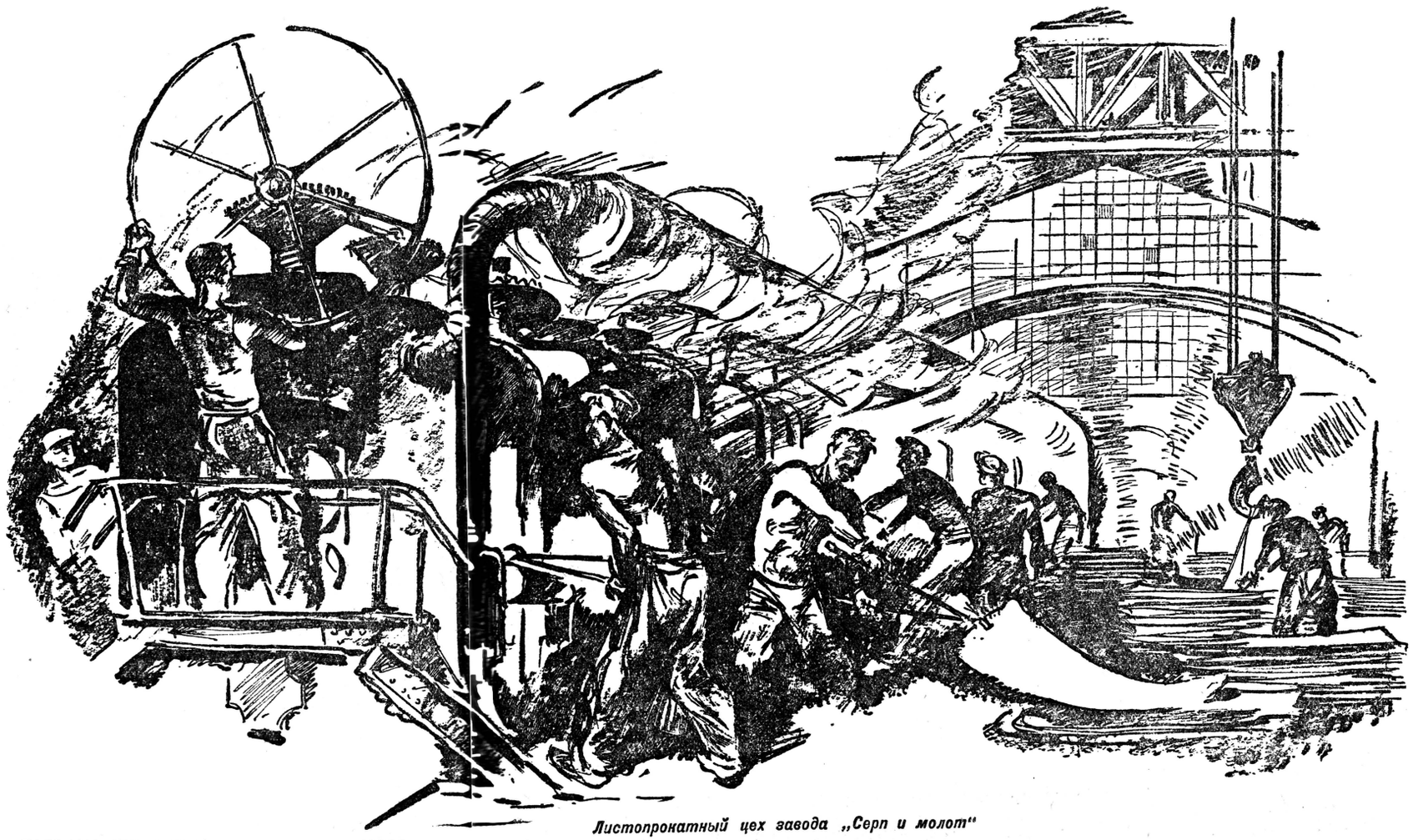
Заявляем, что обещания, данные нами советскому правительству во время вступления в социалистическое соревнование в марте месяце 1929 г. о перевыполнении промфинплана, мы выполнили в 1928/29 году. План выполнен на 105 проц., в 1929/30 г. на 113 проц. Особый квартал 1930 г. на 126 проц.

Вступив в решающий 3 й год пятилетки, мы в январе 1931 года выполнили промфинплан на 107 проц., а в феврале дали 114 проц. За ударные темпы работы добровольного социалистического труда нам, листопрокатчикам завода „Серп и молот", партия и завком преподнесли переходящее знамя, которое мы крепко держим два года и удержим его до конца выполнения пятилетки в четыре года.

Это доказывает, что социалистическое соревнование является могучим выражением великого трудового подъема широких пролетарских масс СССР. Грандиозный план социалистического строительства охватил все уголки Советского союза и каждого отдельного рабочего и крестьянина. Мы заявляем, что нигде в мире нет такой подлинной свободы для человеческой мысли, труда, как в Советском союзе. Рабочие СССР подняли смелой рукой знамя великих работ и твердо решили в союзе с крестьянством под руководством партии большевиков и советского правительства создать новый быт, науку и новую светлую жизнь.

Мы строим социалистическую промышленность и вкорне перделываем старую деревню на основе коллективизации.

Вот поэтому шевелится весь мир поработителей, господствующих спе-



Листопрокатный цех завода „Серп и молот"

кулянтов, фабрикантов и торговцев человеческой кровью во имя бога и капитала.

Дорогие товарищи! Мы обращаемся к вам, к рабочим Запада, которые в течение всех лет существования советской власти с величайшим вниманием следили за каждым шагом жизни в СССР, и заявляем, что вопли капиталистов о „принудительном труде" в СССР — клевета и ложь.

Рабочий класс СССР уверен, что с ним против лжи и клеветы и против подготовки войны восстанет великая армия рабочих всех стран, интернациональная армия защитников пролетарской диктатуры.

Мы приглашаем делегацию рабочих вашего завода к первомайским праздникам. Приезжайте и посмотрите, как мы живем, как мы трудимся. А вы добейтесь, чтобы нашу делегацию допустили к обследованию условий труда ваших рабочих.

Рабочие собрания листопрокатчиков завода „Серп и молот".

И Томас Монгер взволнованный ходит мимо грохочущих станов и ревущих печей. Он потирает огромные красные руки и, подмигивая сварщикам и похлопывая по голым спинам складальщиков и тыча кургузый палец меж ребер хохочущих вальцовщиков, возбужденно кричит:

— Пожалуйте сюда! Мы вам покажем, как мы работаем. Мы вам покажем, как надо работать!

И регулярно заходит в партийный комитет осведомиться: едут немецкие листопрокатчики к нам или не едут.

БОРЬБА ЗА ЭССЕН*)

Ганс Мархвитц *Рис. С. Первунинского*

Толпа красногвардейцев окружила автомобиль

ТРИ дня прошло с того момента, когда рурские рабочие захватили железный Эссен. Всюду царило военное оживление. Школы и городские учреждения были полны вооруженными рабочими — они добровольно шли на фронт, продвинувшийся до Везеля.

В Штоппенберге 22 марта тоже кипела жизнь. Фриц Рауп собирал рабочие отряды для отправки на фронт. Первый отряд был сформирован под предводительством Карла Поводного. В три часа дня он отбыл на фронт.

Час спустя был готов к отправке и второй отряд. Не хватало только автомобиля.

Франц Крейзат сидел на выступе стены и следил за радостным оживлением товарищей.

— Франц, хочешь стать во главе второго отряда? — крикнул ему Фриц Рауп

— Охотно, если товарищи согласны, — ответил Франц Крейзат.

— Согласны, конечно, согласны! — закричали рабочие.

Толпа красногвардейцев окружила реквизированный автомобиль, на котором Франц Крейзат должен был отправиться со своим отрядом на фронт.

— Ничего не в ходит, — ругается шофер, — машину нельзя сдвинуть с места. Товарищи, боюсь, что вам придется итти пешком.

— А ну-ка, пусти меня, — крикнул кто-то из толпы.

Высокий, сильный мужчина в грязной фуражке, протискивался вперед. Он с такой энергией взялся за дело, что несколько минут спустя мотор зашумел.

— Хочешь ехать с нами? — спросил его Фриц Рауп.

— Хочу, — ответил он. — Ведь я три года управлял такими машинами на фронте.

— Франц, все готовы, — сказал Крейзату Фриц Рауп. — Можете отправляться.

Через пять минут рабочие вскарабкались на грузовик. Молодой забойщик прикрепил спереди красное знамя и на грузовик втащили тяжелый пулемет.

— Держитесь, товарищи! — поднимая руку одному за другим, крикнул Фриц Рауп.

Юпп Цермак подошел к автомобилю и крикнул:

*) Продолжение, см. № 1 и 2.

— Держись, Франц! Держитесь во всю, товарищи!

— Не беспокойся, мы им покажем, — ответили ему с автомобиля.

Когда автомобиль промчался мимо барака № 35, Францу показалось, будто у окна третьего этажа мелькнуло озабоченное печальное лицо его матери. Он больше не заходил домой, боясь упреков, и теперь ему стало жаль, что не простился с матерью, не приласкал ее на прощанье. Чтобы не думать об этом, чтобы преодолеть охватившую его слабость, Франц начал петь вместе с красногвардейцами.

Навстречу попадались возвращавшиеся красногвардейцы. Раненые, с перевязками, тащили по две-три винтовки для товарищей. Франц приветливо кивал им.

Утомленные раненые товарищи приветливо улыбались:

— Скорее, скорее отправляйтесь туда, на фронт, товарищи, там очень нужна ваша помощь.

По городу мчались автомобили с вооруженными людьми, среди них мелькали женщины с белыми нарукавными повязками, в красных платочках.

— Сестрицы, — сказал молодой парнишка Шниддер, увеселявший всех красногвардейцев. — Чертовски смелый народ. Я видел их в Штоппенберге. Удивительные молодцы. Под огнем тащили раненых товарищей.

— К ратуше, — сказал Франц шоферу.

Он крепче сжал винтовку в руках.

— Смотри — „Спартаковец", — сказал ему товарищ, показывая кипу газет. — Мы реквизировали редакцию буржуазной газеты, там теперь печатается наш боевой орган.

Франц раздал газеты своим красногвардейцам и приказал ехать в Зегеротские бараки. По городу автомобилю пришлось двигаться медленнее. Всюду было одно и то же. Поющие вооруженные рабочие, красные знамена.

Бараки напоминали военный лагерь: автомобили, винтовки, группы беседующих, смеющихся красногвардейцев. У входа в бараки стоял часовой.

— Откуда прибыл отряд? — спросил он.

— Из Штоппенберга, — весело крикнул Шниддер, вылезая из автомобиля.

Часовой сообщил коменданту о прибытии отряда.

— Вы едете на фронт? — спросил молодой матрос.

— Да.

— Что вам еще нужно из снаряжения? — спросил он Крейзата.

— Пожалуй, не мешало бы нам иметь еще один пулемет, — заметил Франц.

— Все, что угодно, кроме денег, — ответил тот. — Оружия у нас достаточно.

Он позвал нескольких рабочих и приказал снабдить новоприбывших всем необходимым.

— Зови товарищей обедать. Не забудь, что впереди вас ждут лишения и трудности, — сказал матрос.

Франц Крейзат был поражен. За короткое время так все успели наладить. Матрос повел его в огромное помещение, часть которого занимала кухня.

Вспотевшие от работы женщины, в передниках и платочках, кормили красногвардейцев, другие мыли посуду, чистили картошку.

— Ну, вот, садитесь за стол, а когда будете сыты, отправляйтесь дальше.

— Комендант, к телефону, — крикнул матросу какой-то рабочий.

— Видишь, этак меня все время тормошат.

Шниддер усиленно вертелся вокруг котлов, приподнимая крышки, с компетентным видом разглядывая содержимое. Неожиданно кто-то ударил его деревянной ложкой по носу.

— Эй, воронье пугало, что тебе здесь надо? — выругалась одна из женщин.

— Я только хотел знать, довольно ли сала в супе.

— Сядь, пожалуйста, за стол и жди пока тебе подадут.

Несколько минут спустя он с аппетитом ел вареные бобы и подружился с той, которая ударила его ложкой.

— Ты замужем? — спросил он после третьей порции и ущипнул ее за руку. — Если нет, то знай, что я вдовец, понимаешь?

— Ешь, ешь досыта, — ответила женщина.

Красногвардейцы хохотали над шутками Шниддера.

— Шниддер не раз еще женится по дороге, — говорили они.

— Но только там, где почувствует запах сала.

— Теперь мы будем иметь дело с рейхсвером, — сказал Крейзат.

— Ничего, справимся и с ними, товарищ, — сказал стоявший поблизости молчаливый человек. Он не был из отряда Крейзата и собирался на фронт. Его звали Мурр.

— Хочешь ехать с нами? — спросил Франц, которому понравились сдержанность и спокойствие Мурра.

Они пожали друг другу руки после того, как Франц рассказал ему о своем аресте, о том, как его избивали полицейские.

Появился комендант.

— Товарищи, если вы готовы, отправляйтесь в Дорстен. Там срочно требуется подкрепление.

Возле автомобиля неподвижно стоял шофер. На западе солнце висело красное, как капля крови.

Автомобиль рвался вперед, фыркал и пыхтел.

— Дайте мне местечко, товарищи, — крикнул женский голос.

— Вот тебе и раз, — сказал Шниддер.

К автомобилю подошла девушка в красном платочке и с красным крестом на рукаве.

— Стойте, товарищи, сестрица хочет поехать с нами, — закричал Шниддер. Он приветливо протянул руку, чтобы помочь девушке сесть в автомобиль.

— Куда ты? — удивленно спросил ее Франц.

— Я хочу ехать с вами, — ответила сестра милосердия. — Должен же кто нибудь перевязывать ваши раны.

— Ты решила ехать на фронт? — спросил Франц.

Девушка кивнула головой.

— А тебе известно, что там стреляют?

— Еще бы, — ответила она. — Я еду туда уже второй раз, ведь только что привезла транспорт раненых с фронта. Солдаты Носке подстрелили при мне двух красных сестер.

Красногвардейцы окружили ее.

— Но ты не была под обстрелом? — спросил Франц.

— Конечно, была, — ответила девушка. — Пуля мне пробила платок на голове. Еще сантиметр — и все было бы кончено.

Мужчины с уважением слушали ее. Франц Крейзат внимательно посмотрел на говорившую. У нее было нежное, необычайно осмысленное лицо, очень бледное, с глубокосидящими усталыми серыми глазами.

— Где ты работала?

— В Кетвиге, на ткацкой фабрике Шмидта.

— И родители твои там живут?

Она испуганно взглянула на него и замолчала.

— У меня больше нет родителей, — несколько минут спустя сказала она. — Нельзя же всегда жить с родителями. Я с ранних лет самостоятельна.

— А ты знаешь, за что мы боремся?

— Еще бы. Я непрочь зажить другой жизнью. Что я имела до сих пор!

Она молча посмотрела на свои маленькие руки, покрытые шрамами.

Он почувствовал сострадание к девушке.

— Я бы хотел, чтобы моя мать познакомилась с тобой, — сказал он. — Только она вряд ли поняла бы тебя.

— Почему?

— Она видеть не может демонстраций и хотела бы пришить меня к своей юбке.

Девушка весело рассмеялась.

— Она ведь мать, с этим ничего не поделаешь.

— Да, — ответил Франц, — она меня очень любит.

Оба замолчали и задумались. Лицо девушки затуманилось. Она выглядела старше.

— Что с тобой? — спросил Франц.

— Ничего, — резко ответила она.

— Скажи. — Он повернул ее лицо к себе. — О чем ты думаешь.

— О матери. Моя мать умерла.

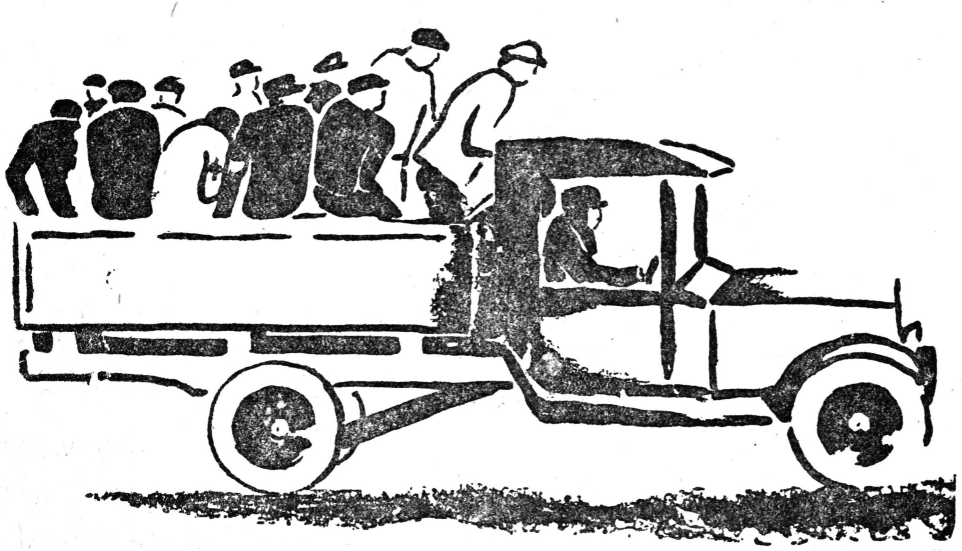
Автомобиль бешено мчался вперед. Мелькали дома, шахты.

Дети кричали и кивали вслед автомобилю. Печальные, недовольные лица выглядывали из окон казарм. То здесь, то там приветливо махала чья-нибудь худая рука.

На западе померкло солнце. Горизонт запылал последними лучами уходящего дня.

— Надо набрать бензина, — крикнул шофер и соскочил на землю.

Вслед за ним вылезли и все остальные. Они старались размять замерзшие тела, хлопали руками, топали ногами.



— Тебе холодно. Ты недостаточно тепло одета, — сказал Франц девушке.

— Ничего, две ночи я это выдержала,— ответила она. — Я уже привыкла.

Она пыталась шутить, но от холода стучала зубами. Франц снял пальто.

— Возьми это, иначе заболеешь.

Она охотно исполнила его требование.

— Ну, вот теперь ты будешь мерзнуть, — озабоченно сказала она.

Между тем наступила ночь. В домах зажгли керосиновые лампы, газ и электричество.

Мотор снова загудел.

— Посадка, — крикнул шофер, усаживаясь на своем месте.

За ним красногвардейцы, Франц и красная сестра.

Рабочие подтрунивали над Шниддером. Он забился в угол и неистово храпел.

— Мир праху твоему, — сказал один из ребят.

Все захохотали.

— А что мы напишем на его памятнике, если он больше не проснется?

— Здесь покоится наш Шниддер. Когда будет следующий путь, он постарается так же мирно отдыхать, как и теперь.

Франц весело смеялся с товарищами. Девушка не отставала от него. Но Шниддер все забыл — бурные дни, поездку на фронт — и беззаботно спал, несмотря на то, что при каждом толчке автомобиль высоко подбрасывал его, как мячик.

По дороге им встретился автомобиль с ранеными.

— Как дела на фронте?

— Скверно, товарищи, нужна помощь.

— Где наши?

— У Динслакена, в кустах возле Везеля и там всюду в окрестности.

— Потерь много?

— Невероятно. Солдаты Носке стреляют шрапнелями.

— Где ближайшая комендатура?—спросил Франц.

— Вы сейчас прибудете в Дорстен. Держитесь большой дороги, там увидите наши посты.

— Дальше вперед. Всего хорошего, товарищи.

— Всего хорошего.

Автомобили разъехались в разные стороны. Разговоры постепенно затихли. Слышен был только шум мотора. Девушка заснула, прислонившись к Францу. Она иногда испуганно вскакивала, когда автомобиль налетал на камень.

— Стой!

Вооруженный отряд рабочих стоял посреди дороги.

— Что случилось?

— Откуда вы?

— Из Эссена. А где мы?

— В Дорстене.

— Где комендатура?—спросил Франц.

— Ты начальник отряда? Идем с нами.

— Транспорт из Эссена, — крикнул спутник Франца, когда они вошли в переполненную людьми комендатуру.

К Францу подошел матрос с покрасневшими глазами, в грязном платье.

— Откуда вы? — усталым охрипшим голосом спросил он.

— Из Эссена, — ответил Крейзат.

— Идем, товарищ, — сказал матрос.

— Тут можно сойти с ума. Социал-демократы порят все дело по мере сил и возможности. Сейчас они спорят о том, что надо вступить в переговоры с правительством.

Он нервно провел рукой по волосам.

Вооруженный отряд рабочих остановил грузовик

— Если бы это зависело от меня, я бы повесил некоторых из них на ближайших тополях.

* * *

— Где мне расположиться с моим отрядом? — спросил его Франц.

— Мы вам отведем помещение на ночь, вы должны хорошенько отдохнуть и утром вступить в бой.

Четверть часа спустя матрос привел отряд Крейзата на место ночевки. Это было помещение пивной.

— Если хозяин не захочет вас пустить,— сказал он, — сошлитесь на то, что это приказ Исполнительного Комитета.

— Боже мой, что я буду делать с такой массой народа! — вопил хозяин.

Хозяйка была наглее и ругалась:

— Мой дом не приют для проходимцев. Я завтра же буду жаловаться.

— Напрасно, жена. Никакие жалобы тебе не помогут, — сказал хозяин.

Он угрюмо смотрел на красногвардейцев, устраивающихся на ночлег.

— Нет ли у вас отдельной комнаты для женщины?—спросил Франц хозяйку.

— Нет.

Франц сердито посмотрел на нее.

— Ну, что же, тогда устроимся иначе.

Рядом с пивной была маленькая каморка. Франц притащил охапку соломы для Розы — сестры милосердия.

Было уже около полуночи. Шниддер храпел во всю. Одни красногвардейцы спали, другие вяло разговаривали.

Несколько минут спустя Мурр заснул, а вслед за ним и Франц.

В тишине мартовской ночи слышался грохот гранат—рейхсвер обстреливал железнодорожный путь.

* * *

— Встать! — услышал Франц и широко раскрыл глаза. Один из рабочих открыл окно.

— Где девушка? — тоном начальника закричал Шниддер. — Пусть разливает кофе. Вставай! — стучал он костлявым пальцев в дверь каморки.

— Молчи, Шниддер,— сказала она, выходя из комнаты.

— Еще одна ночь прошла,—со смехом обратилась она к Францу.

— Да, завтра нам будем похуже.

Роза испуганно посмотрела на него.

— Но я останусь с вашим отрядом? — озабоченно спросила она.

— Не знаю, можем ли мы тебя взять с собой на передовые позиции, — ответил он.

— Но почему? Ведь я уже там была,— заметила девушка.

— Это опасно.

— Но и для тебя тоже.

Они посмотрели друг другу в глаза.

— Я боюсь за тебя, — наконец сказал Франц Крейзат. — Эта затея не для женского племени.

— Я хочу итти с твоим отрядом, я не боюсь пуль — Она схватила Франца за руку. — Возьмите меня с собой.

В эту минуту подошел Мурр.

— Иди умываться, да поскорее, мы может быть скоро двинемся дальше, — сказал он Францу.

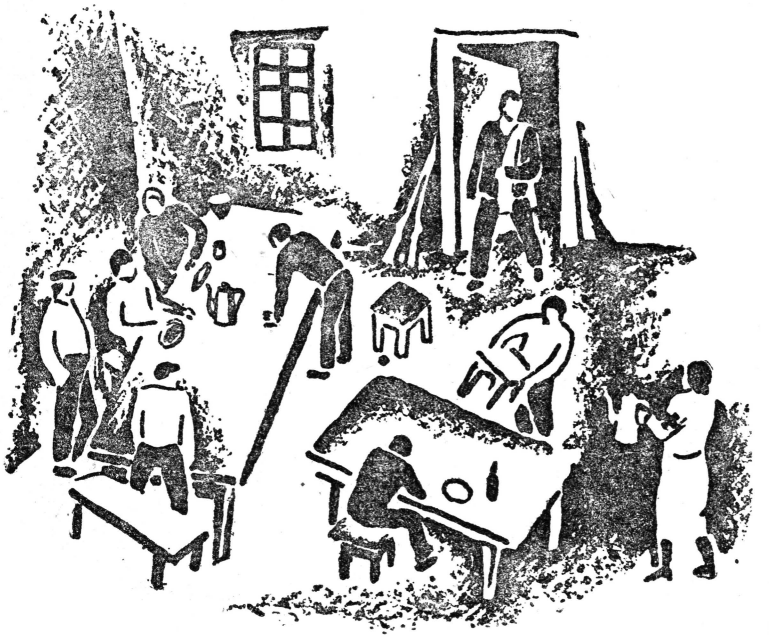
— Дайте нам кипятку, – попросила Роза хозяйку. — Мы хотим заварить кофе.

— А разве кофе у вас есть? — с опаской попросила та.

— Есть, есть, — ответил Мурр и вытащил маленький пакетик из своего вещевого мешка.

Когда Франц вернулся после умыванья, солома была убрана и посреди комнаты стояли два стола.

— Иди скорее пить кофе,—крикнула ему Роза.



Посреди комнаты поставили столы для завтрака

— Разве ты не голоден?— спросил его Мурр, видя, что он ничего не ест.

— Я ничего не взял с собой, — ответил он.

Мурр поделился с ним хлебом и салом.

— Ешь, ешь, — повторял он.

Солнце заглянуло в комнату и придало закопченным стенам более уютный вид. Рабочие повеселели, особенно Шниддер.

С фронта слышался отдаленный гул орудий. Красногвардейцы насторожились. Разговоры стали серьезнее.

— Крепостная артиллерия,—сказал бывший артиллерист. — Жаль, что у нас нет таких орудий.

— Все-таки на войне занятно, — сказал молодой светловолосый забойщик, впервые в жизни взявший винтовку в руки.

— Занятно? — переспросил Мурр.— Ну, нет. Всякая война жестока и кровопролитна. Важно, конечно, из-за чего она ведется.

Красногвардейцы посмотрели на говорившего. Он продолжал:

— Когда эксплоататоры заставляют рабочих сидеть в окопах и убивать друг друга, это война, при которой выигрывают притеснители, а рабочие умирают, ничего не изменив в своей жизни.

— Но ведь теперь мы также воюем?— крикнул через стол молодой забойщик.

— Теперь совсем другая война. Это — война класса против класса, притесняемых против притеснителей. Эта борьба освободит рабочих, она тоже жестока, но это справедливая война, товарищи.

— Будет ли когда-нибудь мир? — спросил трамвайный рабочий, до того молча сидевший за столом.

— Мир наступит только тогда, когда во всех странах поднимутся рабочие, возьмутся за оружие, пошлют к черту притеснителей и захватят власть в свои руки.

— Если им это удастся,—прибавил трамвайщик.

— Русские рабочие и крестьяне не думали об этом, а действовали, стиснув зубы. Их винтовки решили дело. Мы начали войну, чтобы положить конец старым порядкам, чтобы установить новый порядок.

Рабочие смущенно, с уважением поглядывали на Мурра. Его бледное лицо разгорелось, глаза были полны огня и беспощадной ненависти.

Неожиданно раздался шум. Все выбежали из комнаты. Перед пивной стоял грузовик, нагруженный вооруженными рабочими.

— Откуда вы?

— Из Гельзенкирхена. А вы?

— Из Эссена!

— Шопенбергские рабочие!

— Фронт далеко?

— Мы тоже направляемся туда. Один отряд снаряжается за другим.

— Ура!

Несколько рабочих раздавали хлеб

Отряд из Гельзенкирхена умчался на передовые позиции.

— Посадка, — крикнул Франц Крейзат.

Один за другим взобрались на автомобиль Роза, Мурр, Крейзат, красногвардейцы.

Четверть часа спустя расставленные на пути часовые остановили автомобиль.

— Обстреливается дорога, надо итти пешком.

— Идем, товарищи, — крикнул Крейзат.

Через полчаса показались первые дома. Навстречу стали попадаться красногвардейцы с фронта.

— Далеко еще? — спросил Шниддер.

— Минут десять ходьбы.

Наконец они увидели окопы.

— Где начальник?

— Вот он, там торчит, видишь?

Тон был насмешливый.

— Совсем как в Дорстене, — подумал с горечью Крейзат и подозвал Мурра.

— Мне здесь не нравится. Пусть товарищи подождут, а я пойду справиться.

Войдя в указанный ему дом, он опять увидел группы людей, которые спорили о чем-то. Несколько рабочих раздавали хлеб.

— Кто еще не получил?

— Я, я.

Франц заметил, что многие прятали полученный хлеб и брали вторично.

— Чорт знает что, — выругался худой, изможденный рабочий.— Я прямо с фронта и не получил ни куска. А те, которые толкутся здесь со вчерашнего дня, жрут не переставая.

— Где начальник участка? — спросил Крейзат рабочих.

— Ему ни до чего нет дела, сидит в своей комнате и возится с картами.

Франц с большим трудом проник к начальнику участка.

Над столом стоял какой-то человек и внимательно изучал карту.

— Я ведь приказал, чтобы мне не мешали, — недовольно сказал он, увидев Франца.

— Я прибыл с отрядом.

— Откуда?

— Из Эссена.

— Можно ли доверить вашим людям? Иначе от них не будет никакого толка. Здесь у нас довольно хлама.

Он устало, с отчаянием взглянул на Франца Крейзата.

— Я тебе помогу, я постараюсь их образумить,—уверенно сказал Франц.

Он позвал Мурра и начальников новоприбывших отрядов на совещание. Решено было произвести основательную чистку.

Толпа взволновалась.

— Что они там замышляют, — заорал какой-то крикун.

Начальник подошел к нему и коротко сказал:

— Немедленно отдай винтовку.

— Почему?

— Отдай винтовку, — жестко повторил тот и стал обходить толпу красногвардейцев. Смутьяны старались смыться. Им это не удалось.

— Стыдитесь, — сказал начальник.

— На передовых позициях товарищи ждут подкрепления, а вы тут вносите беспорядок.

— Вперед, кто идет на фронт, а кто остается здесь, пусть немедленно сдаст свою винтовку.

Красногвардейцы бросились к воротам помещичьей усадьбы

Пришлось разоружить еще несколько человек.

— Теперь марш вперед, — скомандовал он.

Сестры милосердия хотели присоединиться к идущим на фронт.

— Нет, вы останетесь здесь, — сказал им начальник.— Придется устроить перевязочный пункт.

Роза, все время не терявшая надежды попасть на фронт, побледнела и с грустью посмотрела на уходившего Франца.

— Ты пойдешь на подкрепление отряду, стоящему слева от железнодорожной насыпи,—сказал начальник Крейзату.

Отряд Крейзата углубился в лес. Ему пришлось пересечь железнодорожную насыпь. Красногвардейцы то и дело пригибались к земле: каждые пять-десять минут с воем пролетала граната.

Полчаса спустя Франц Крейзат сделал знак товарищам

— Смотрите,—сказал он,—здесь недавно были наши,—и указал на свеже-вырытые ямы.

— Может быть, они прошли вперед, может быть попали в плен.

— Нельзя же итти в слепую.

— Необходимо приблизиться к нашим или к солдатам Носке, — решительно заявил Франц и хотел уже двинуться дальше, как вдруг раздалась трескотня пулемета.

— Вот они, — сказал красногвардеец, служивший отряду проводником.

— Необходимо выяснить, где они,— заявил Франц и стал осторожно пробираться с Мурром и проводником в ту сторону, откуда раздавались выстрелы.

— Повидимому рейхсвер напал на наш отряд.

— Ползком, товарищи, — приказал он, когда отряд догнал их.

Вскоре Франц Крейзат заметил шпиль какой-то башни. Пули непрерывно осыпали деревья.

— Вот они, солдаты Носке.

— Полицейские и рейхсвер, — заметил Мурр.

— Взять их под обстрел. Пли, — вполголоса приказал Франц Крейзат, и красногвардайцы стали бешено стрелять из пулеметов.

— Тра-та-та-та! — Солдаты в ужасе метались по двору, убегали за ворота, бросались в кусты.

— Идем, солдаты Носке смылись,—сказал Франц.—Надо занять этот дом.

Отряд бросился вперед. Ворота были изрешечены пулями и едва держались на петлях.

— Обыскать все вокруг, — приказал Франц Крейзат.

Рабочие судорожно обыскивали двор и дом. Патронов и ручных гранат оказалось в изобилии. Но нигде не видно было ни убитых, ни раненых.

— Уж не западня ли это?— говорили красногвардейцы.

— Они вот где, — сказал Мурр, указывая на калитку, спрятанную в стене.

— Идите в дом, обыщите все, — обратился Крейзат к товарищам. В эту минуту на широкой лестнице появился худощавый высокий человек в штатском и с улыбкой сказал:

— В доме никого нет. Солдаты очистили помещение.

— Кто вы? — спросил Франц Крейзат, вплотную подходя к нему.

— Я — управляющий имением.

— Прошу вас позаботиться о нашем продовольствии,—сказал Франц Крейзат.— Советую не входить в сношения с солдатами Носке, иначе мы будем принуждены поставить вас к стенке.

— Можете быть уверены, что я не имею к ним никакого отношения, — дрожа от страха, заметил управляющий.

Несколько минут спустя он снова появился. Две девушки несли хлеб, масло, кувшины с молоком. Рабочие с жадностью набросились на еду.

— Послушай, — сказал Шниддер Крейзату.— я уверен, что это не управляющий, а владелец этого имения, барон, граф или тому подобная пакость.

Франц подозвал Мурра и шепнул ему:

— Шниддер думает, что это сам помещик. Не лучше ли его запрятать под замок? Негодяй может нам причинить много вреда.

— Обязательно надо его хорошенько упрятать,—ответил Мурр, продолжая спокойно есть.

Франц с двумя красногвардейцами подошел к управляющему.

— Что вам угодно? — испуганно спросил тот.

— Вы можете нам причинить вред и поэтому мы решили запереть вас, — перебил его Шниддер.— Где наши товарищи, которые попали сюда раньше нас?

Управляющий побледнел, как полотно:

— Я, я право не знаю.

У Франца Крейзата мелькнуло подозрение, что мнимый управляющий устроил западню исчезнувшим товарищам.

— Заприте его и следите за ним в оба, — сказал он красногвардейцам.

Мнимый управляющий с ненавистью и страхом взглянул на Крейзата.

— Кто хочет отправиться к реке Липпе и постараться установить связь с нашими? — спросил Франц, возвращаясь к товарищам.

Мурр встал, выбрал себе двух красногвардейцев и коротко сказал им:

— Идем.

Когда Мурр ушел, Франц Крейзат разделил отряд на две части. Одна должна была оставаться в доме и расставить часовых. На случай нападения рейхсвера два пулемета были спрятаны в надежном месте. Третий пулемет, который был найден во дворе, Франц Крейзат взял с собой и со второй половиной отряда пошел лесом, держась правой стороны. Он хотел во что бы то ни стало добраться до железнодорожной насыпи.

(Окончание в следующем номере)

ВОЖДИ, КОТОРЫЕ ГОВОРИЛИ ШОПОТОМ

С. Марвич *Рис. Н. Кочергина*

Вопль под занавес

ПЯТЬ лет тому назад, через несколько дней после того, как сорвалась всеобщая забастовка и начали снова дымить трубы и снова покатились по рельсам 15 тысяч поездов, в журнале старого Ленсбери кто-то испустил вопль: „Мужчины и женщины, которые будут руководить нашим движением после мая 1926 г., должны иметь следующий лозунг: „Господи, сделай нас достойными тех людей, которых мы ведем за собой".

Надо знать таких вождей, как Ленсбери, надо знать самого Ленсбери, чтобы проникнуть в силу и глубину этого лицемерия. Сначала предать, предать пять миллионов английских рабочих, просить, как побитая собака, прощения у королевских министров. Затем сокрушаться, видя, как миллионы пролетариев понуро, стиснув зубы, возвращаются на работу, и просить у господа-бога милости сделать их, вождей, такими же сильными духом, как те, кто разом по первому сигналу остановил в Англии жизнь.

„Господи, сделай нас достойными тех, кого мы ведем за собой!..

Таковы вожди английских профсоюзов! А рабочие?

Об английских рабочих еще до войны говорил Ленин, что они на деле показывают, как становятся действительностью слова боевой песни: „Все колеса не грохочут, коль твоя рука захочет".

Впервые в истории бросил тогда шахты (1912 год) миллион горняков сразу. Парламент, вожди предатели в конце-концов добились своего. Через полгода вновь застучал заступ в шахтах.

Но за эти полгода многому научился английский пролетариат. Он на практике понял, что рабочее дело будет выиграно тогда, когда к горнякам присоединятся железнодорожники, строители, текстиля, металлисты. Тогда-то все колеса перестанут грохотать, тогда-то все жизненные нити огромного хозяйства соберутся в руке рабочего. Тогда-то будет обезоружен капитал и по-иному запущены колеса истории.

Война отодвинула эту минуту. Вожди голосовали за войну и вошли в правительство. Споры труда с капиталом они твердо отложили до победного конца. Тогда, обещали они, рабочим можно будет получить свое, а пока что надо работать без возражений, если ты в тылу, и умирать без возражений, если тебя послали на фронт. Того требует родина, а родина, утверждали вожди, одна для всех и она выше и дороже всяких споров с хозяином.

Подождите до победы

АНГЛИЙСКИЙ уголь превосходен. По качеству нет ему равного в мире. Но шахтовладельцы надеялись весь свой век прожить за счет качества и не расходоваться на производство. Угольные районы раздроблены между тысячами хозяев. И все эти хозяева принадлежат к одной породе недалеких хищников. Чего там тратиться на врубовые машины, на новые подъемные механизмы, на электровозы, на технику безопасности! Природа сунула нам в руки чудесное

богатство. Кардифф дает топке куда больше жара, чем уголь из других стран. Кочегары всего мира знают это. Отцам нашим кардифф давал богатую жизнь, мы проживем, и внукам останется.

Нет врубовых машин? Пустое! Машины дороги и как они еще будут окупать себя! Электровозы? Серьезная ли это затея? Слепая кляча неплохо возит. Техника безопасности? Ну, если Джон расшибет себе голову, то на его место придут проситься три Джона.

Лишь у очень немногих хватило ума иначе глядеть на дело. Причины для тревоги не только за потомство, но и за себя появились уже до войны. Качество качеством, но до бесконечности жить за счет природы, не улучшая, не совершенствуя ее, никак невозможно. Больно дало себя знать это хищническое, технически отсталое хозяйничанье. В Европу пошел далекий американский уголь. Даже он, привезенный за тысячи миль, стоил гораздо дешевле английского. Что уж тогда говорить о германском угле, который находился по соседству. Германский уголь бил английский не только во Франции, в Италии, на Балканах. Он — страшное дело! — крупнейшими партиями расходился в стране несравненного кардиффа. Угольные магнаты Англии требовали высоких покровительственных пошлин, памфлетисты в злой и острой классической манере издевались над грузной английской системой хозяйства, которая лупит себя даже у себя на родине. Экономические журналы доказывали так же, как доказывают теперь, что этой системе пора омолодиться. Но омолаживаться было некогда. Грянула война.

Войну решал материальный перевес — деньги, сталь, топливо. В годы, когда не хватало тоннажа для перевозки войск и снарядов, каждая тонна нефти и угля была составной частью военной силы капитала Антанты от разгрома. Английское правительство отлично понимало, что более чем опасно оставить управление шахтами одним шахтовладельцам. Оно учредило свой контроль над добычей угля. Вожди горняков, которые еще недавно звали их на борьбу с капиталом, отдали всю свою преданность именно капиталу. Они даже на словах не вмешивались в классовую борьбу. Шахты работали по законам военного времени. Профсоюзы, умыв руки, стояли в стороне и только уговаривали горняков потерпеть до конца войны.

Тройственный союз воскрес и отсрочил борьбу

И вот пришел конец войны. Сразу же начали рассчитывать тех, кого уговаривали беззаветно выполнять свой патриотический долг. За все, про все им выдали награду в сумме недельного пособия. Правительство снимает свой контроль с шахт. Федерации углекопов уже никак невозможно больше оставаться в стороне. Надо осуществлять свое классовое руководство. Надо, по крайней мере, говорить об этом. И вожди федерации говорят, говорят, для того, чтобы не действовать.

А возможности для революционного действия были колоссальные. На родину вернулись миллионы пролетариев, которые научились отлично владеть винтовкой. В ответ на атаки капиталистов можно было развернуть подлинную гражданскую войну. И имелась организация, которая могла поставить капиталистов на колени.

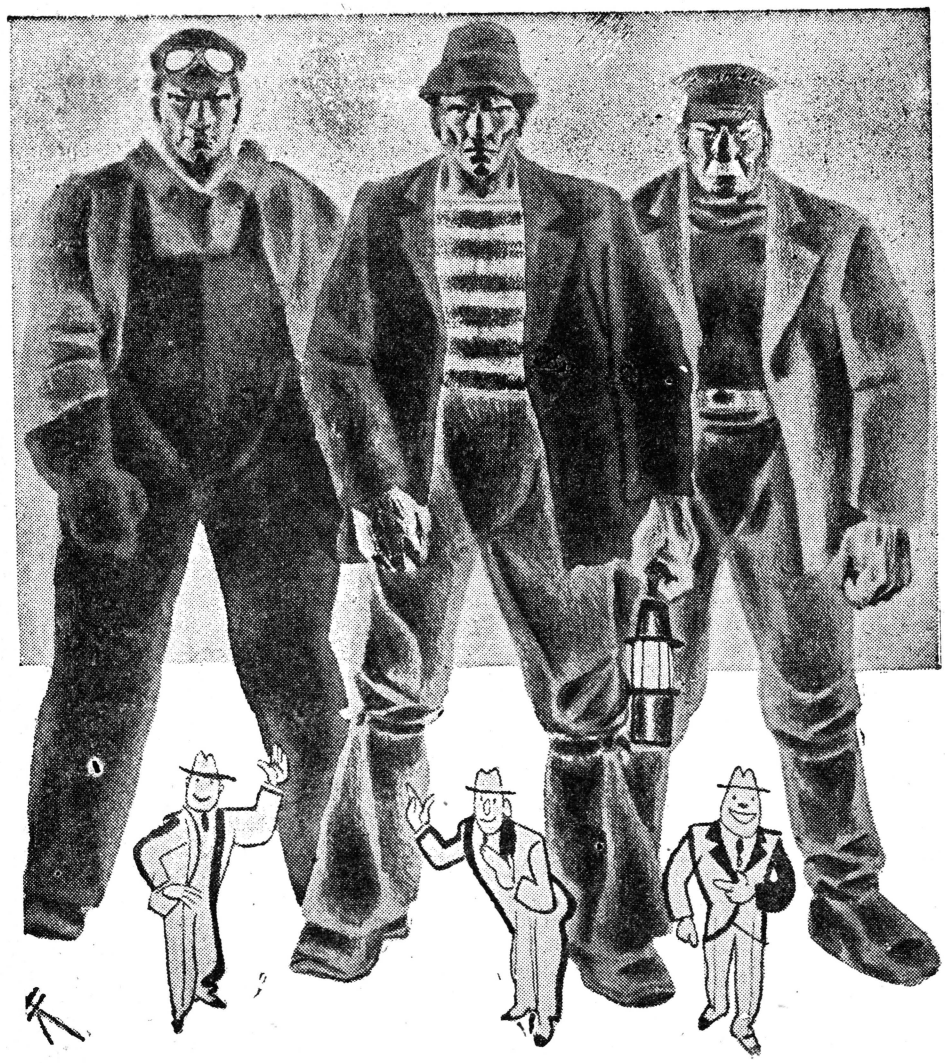
Перед самой войной три крупных профсоюза заключили договор о единстве действий: федерация горняков, федерация транспортных рабочих и национальный союз железнодорожников. Это была могучая сила, которая боевым вмешательством могла решить исход классовой схватки.

На время войны Тройственный союз добровольно отказался существовать. После войны он объявил себя существующим. И его первым делом было предотвратить гражданскую войну, отложить стачку горняков до более спокойных времен. Вожди открыли послевоенный период прямым предательством. Стачке и гражданской войне они предпочли смешанную комиссию, которая должна была полюбовно разрешить конфликт между шахтерами и владельцами шахт. Комиссия отсрочила борьбу на два года.

Томас верит только собственным глазам

В феврале 1921 г. английский король бесцветным голосом прочел при открытии парламента программу действий буржуазии на ближайший период времени. Это граммофонное чтение бумаги, составленной министрами, называется тронной речью. По традиции, парламент с глубоким вниманием слушает то, что говорит король, хотя все мысли, которые имеет высказать его величество, известны заранее. Человеку со стороны может показаться, что члены парламента просто почтительно проверяют, не разучился ли его величество читать с прошлой сессии парламента.

15 февраля царственный граммофон прочел, что настали весьма спокойные времена, и правительство снимает контроль с шахт. Через полтора месяца союз шахтовладельцев подтверждает, что времена действительно стоят очень спокойные. Поэтому зарплата миллиону горняков снижается. Угольные бароны заявляют, что отныне они не желают разговаривать с центральной организацией горняков, а будут заключать договоры по отдельным районам. Всем понятно



Три профсоюза и их вожди

что это означает. Угольным баронам куда легче бороться с разрозненными отрядами горняков, чем с единой миллионной армией.

В это время из Амстердама возвращаются в Лондон двое официальных вождей английского рабочего класса — Джон Томас и Артур Гендерсон.

На перроне вокзала в Лондоне к Томасу подходит группа репортеров.

— Мистер Томас, что вы скажете об этой истории?

— Ничего не скажу, пока не увижу собственными глазами.

Через час Томас все увидел собственными глазами. Горняки были готовы с минуты на минуту начать борьбу по первому знаку профсоюза, железнодорожники и транспортные рабочие были готовы их поддержать. Тройственный союз становился огромной силой.

Через два дня Томас выступал на большом собрании железнодорожников в Паддингтоне. Если не начнутся переговоры шахтовладельцев с горняками, обещает Томас аудитории, то начнется забастовка.

Грохот аплодисментов сотрясает стены. Овация. Томаса бурно приветствуют. Собравшиеся вскакивают с мест.

Вот, вождь, твоя армия! Зови, организуй! Пора начинать. Завтра не опустится в шахты ни один углекоп, не откроется ни один пакгауз, не выйдет из депо ни

один паровоз. Силу, которая держит в своих руках энергию, движение, связь городов с городами, — не сломить.

Аплодисменты смолкли, но вождь молчит. Он долго молчит. Потом он говорит холодно и с досадой:

— Вы проявляете больше радости в ожидании забастовки, чем я.

Врага страхуют от убытков

ВСЕГО полтора месяца тому назад король сказал, что стоят спокойные времена. И вот Лондон снова напоминает собой военный город. Идут войска из Ирландии. Возвращаются из отпуска все офицеры. Мобилизованы резервы. Наготове воздушный флот. В парках разбиты военные лагеря. Требуется всего несколько минут, чтобы погрузить людей и пулеметы в эти огромные грузовики и разослать их по всему городу.

Это война? Да, начинается война. В такой войне ничего не жалеют. Если диспозиция потребует, господин полковник прикажет вырубить дорогой его сердцу вековой парк. Если надо, господин полковник прикажет установить пулемет в нише музея, хотя полковник страстно почитает старинных английских мастеров и даже сам учился в молодости рисовать. Если надо, герцог Кован, главнокомандующий Лондонским округом, расположит кавалерию в соборе, хотя он очень верующий человек.

Жестоко, но ничего не поделаешь. Все войны таковы. Других не бывало.

Герцог Кован решителен. Королевские министры тверды, как камень. Но вожди другой стороны готовятся к схватке ужасно деликатно. Да готовятся ли они?

По выступлению генерального секретаря федерации горнорабочих Франка Ходжеса в Иоркшире видно, что он все готов отдать, — лишь бы не было этой схватки. В Ходжесе видят боевого вождя. Его бурно приветствуют. Но он начинает с того, что рисует перед горняками картину самых мрачных ужасов.

— Помните, — вещает Ходжес, — забастовка это безработица, нужда, голод. Не радуйтесь!

Герцог Кован расставляет пушки, а рабочая партия в парламенте больше всего озабочена тем, как бы поменьше нанести вреда врагам английских рабочих. Клайнс, Гендерсон, Дункан Грехем просят Ллойд-Джорджа (главу правительства) верить им, что они безусловные противники революционного образа действий.

Ллойд-Джордж охотно верит им. Он обращается к их национальным чувствам.

— Не забывайте об интересах нации, о спасении национального достояния, о национальном благе, — убеждает премьер-министр депутатов рабочей партии.

На трибуну поднимается Джон Томас. Он благодарит министра за доверие. Это доверие не будет обмануто.

На трибуне снова премьер-министр. Он ни на минуту не сомневался, что его доверие не будет обмануто. Лицом к лицу стоят два враждующих лагеря — владельцы шахт и шахтеры. Но, господа, нация в целом превыше их спора. Работы в шахтах останавливаются. Но надо позаботиться, чтобы от этого не пострадали шахты. Пусть бастуют те, кто добывает уголь. А те, кто стоят у насосов, не должны уходить.

Премьер-министр считает, что шахты — это не собственность угольных баронов, а достояние всей нации в целом.

В жди рабочей партии думают точно так же, как премьер. Разрушение шахт — это признак революционного образа действий, а вожди рабочей партии пуще всего боятся, чтобы общество причислило их к революционерам.

Томас выражает сожаление, что рабочие были отозваны от насосов. Они будут возвращены к насосам. Вода не зальет рудники. Достояние нации не пострадает. И достигается подлейшее соглашение о том, что рабочие не будут считать штрейкбрехерами тех, кто откачивает воду.

Кто сказал, что во всякой войне обе стороны беспощадны? Кто сказал, что других войн не бывает?

Вожди рабочей партии, вожди тред-юнионов опровергают это. Великую схватку 1921 г. они начинают, как джентльмены, как патриоты. Они прежде всего страхуют своих врагов от убытков. Насосы работают день и ночь.

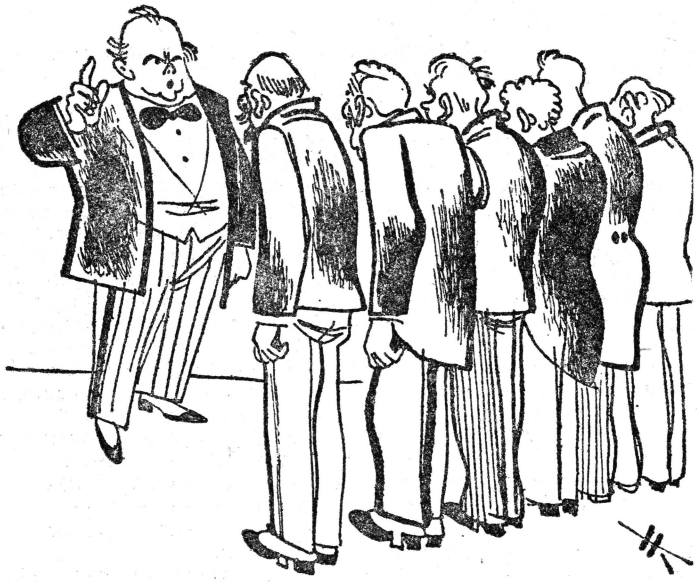
Если война начинается с этой милой любезности, то герцог Кован может убрать пушки с улицы и уехать на охоту. Но солдаты не уходят из парков, и герцог Кован пропускает охотничий сезон.

Двести господ и один Франк Ходжес

В великом трепете ждала буржуазия исхода переговоров о работе насосов. С великим облегчением вздохнула она, когда узнала, что насосы работать будут. Отведен страшный удар от ее судьбы. Этот удар пришелся по спине горняков. Могучее средство борьбы было вырвано вождями из его рук.

Забастовка горняков продолжалась уже неделю. Решимость не ослабевала. Но Тройственный союз все еще не приступал к действиям.

Наконец, 8 апреля Тройственный союз заговорил. В четыре часа исполкомы всех трех профсоюзов, входивших в него, имели заседание. А через два часа Томас опубликовал сообщение, что Тройственный союз пустит в ход все свои средства. Когда? Сейчас? Дорога каждая минута. Каждая минута принадлежит истории.



„Субсидия шахтовладельцам дешевле революции, но эта субсидия будет выплачена за ваш счет“

Каждый час может повернуть историю в другом направлении. Начинай же, Тройственный союз.

Нет, Тройственный союз пустит в ход свои огромные силы только через четыре дня, и то если к тому времени не начнутся переговоры горняками и угольными баронами.

Горячие головы впрямь решили, что Томасы все-таки будут действовать. Холодные головы сразу разгадали смысл этой формулы. Томас оттягивал время. Второй удар был занесен над головой английского горняка.

Эти четыре дня были предоставлены, по словам Томаса, „действию мирных сил“. На пятый день выступили силы, которые Тройственный союз ни за что не хотел выпускать на арену. Массовые собрания матросов, докеров, трамвайных рабочих единодушно требовали немедленного объявления забастовки. В Ланкашире, в Кардиффе были организованы единые забастовочные комитеты. Такие же сообщения поступали из Ливерпуля, Дудлей, Нью-Кестля, Эдинбурга. Только жалкие единицы соглашались с Томасом предоставить решение спора „действию мирных сил“. В Петерборо нашлось четыре таких единицы, в Модервеле — пять, в Гамильтоне — семнадцать. Это был весь „актив“ Томаса, от имени которого он имел право говорить. Классовые силы миллионов рабочих стояли под парами.

12 апреля корреспондент буржуазной газеты беседовал с одним из видных профчиновников Вилльямсом. Корреспондент спросил Вилльямса, не начнут ли рабочие сами забастовку без приказа Тройственного союза.

— Трудно предсказать, что случится, — после тяжкого раздумья ответил Вилльямс.

В ночь на 13 апреля это „случилось“. В Сант-Элен и в других пунктах рабочие начали забастовку, не дождавшись решения Тройственного союза.

Надо было спешить. Весь день 13 апреля вожди Тройственного союза бегали на Даунинг-стрит, 10 (квартира премьер-министра). Они ничего не добились у Ллойд-Джорджа, никаких уступок, никаких обещаний. Вечером вожди Тройственного союза постановили начать забастовку.

Сейчас? Немедленно? Нет, через два дня.

В этот же вечер Клайнс уверял Ллойд-Джорджа, что это решение неокончательное.

— Элемент мира еще пересилит элемент войны, — клялся Клайнс. — Что-нибудь еще может случиться.

В этот же вечер еще позже Ллойд-Джордж пишет суровое письмо Тройственному союзу.

— Дорогие мистер Томас и мистер Вилльямс, — спрашивает премьер министр, — я хотел бы знать, на каком основании вы постановили нанести своим согражданам такой тяжелый удар, как остановка всего транспорта, столь существенного для жизни всей нации.

— Дорогой сэр, — отвечают Томас и Вилльямс, — мы хотели бы повидаться с вами, чтобы лично передать вам наши основания...

— Премьер ждет вас завтра утром, — сообщает по телефону секретарь Ллойд-Джорджа.

В четверг 14 апреля вожди Тройственного союза почти бегом отмахали расстояние от Юнити хауз (штаб-квартира профсоюзов) до Даунинг-стрит.

Снова Томас говорил, что он никак не желает революции, что все, кто пришли к премьер-министру, помогали устранить смертельную схватку между шахтовладельцами и горняками. Томас просит Ллойд-Джорджа поторопиться с организацией переговоров между шахтовладельцами и горняками, а до тех пор обещает „держать арену в своих руках“

Стоит четверг, 14 апреля. Томас может „держать арену в своих руках“ только до ночи, так как с 14 на 15 апреля вечером должна быть объявлена забастовка.

В парламенте царит уныние. Все верят Томасу и его соседям по скамьям, что они

не революционеры и революционерами никогда не будут, но страшит неизвестность, страшат эти миллионные массы, которые никак не разделяют антипатии Томаса к революционному образу действий.

200 депутатов парламента устроили частное совещание. Они, оказывается, искренно хотят познакомиться с действительным положением вещей и приглашают на беседу секретаря федерации горняков — Фрэнка Ходжеса. Это совещание частное, и Ходжесу не так уж нужно на нем присутствовать, но как устоять ему, когда за один стол его приглашают две сотни господ сразу. Ходжес является и говорит ужасно умеренные слова. По его словам выходит, что горняки требуют всего-на-все временного соглашения о зарплате, что они даже не настаивают на общеанглийских тарифах.

Совещание было частное, мнение Ходжес высказал также только свое личное, но Тройственный союз сделал из этой беседы решающие выводы.

Ах, так? Горняки не настаивают на своих прежних требованиях? У них нет готовности начать широкую упорную борьбу? Все, значит, сводится к таким вопросам, которые могут быть улажены смешанной комиссией?

Зачем же тогда наше, Тройственного союза, вмешательство? Ведь мы представляем собой мощную организацию целых трех союзов. Такая организация не может даром тратить силы. Нет уверенности в успехе выступления. Речь Фрэнка Ходжеса на совещании двухсот депутатов парламента расшатала уверенность вождей Тройственного союза. 14 апреля они были уверены в том, что Тройственный союз победит. К 15 апреля их уверенность испарилась, а без нее нельзя выступать.

Подделка была слишком грубой. Никто не сомневался в том, что это подлог, что все разыграно, как по нотам. Ходжес не мог говорить от лица всего профсоюза горняков. Даже исполком союза отшатнулся от Ходжеса. Но Томасу было вполне достаточно.

15 апреля утром в парламенте было угнетенное настроение. Депутаты тревожно расхаживали по коридору и говорили шопотом. Через несколько часов должно было остановиться движение, погаснуть свет.

Что будет?

Ползут минуты томительного ожидания.

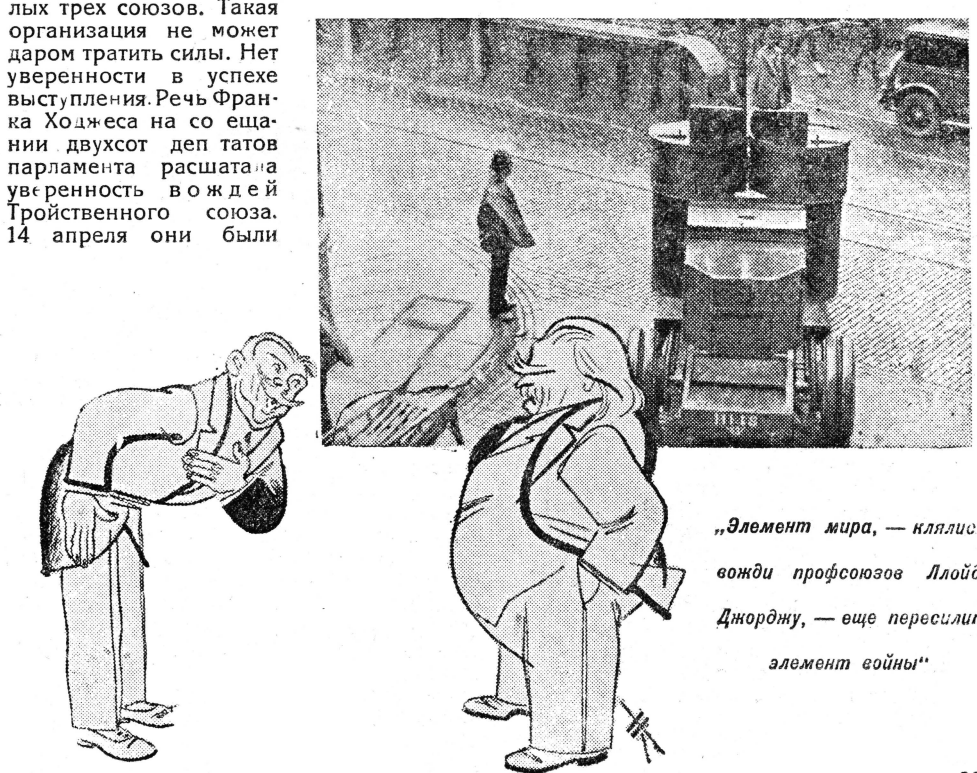
Вдруг в коридор влетает возбужденный, радостный Томас. Он перебегает от одной группы депутатов к другой. Он всем жмет руки. Все ему жмут руки. Если бы сам Христос сошел сейчас на землю, члены парламента не встретили бы его с таким энтузиазмом, как Томаса. Томаса обступают со всех сторон. Уныние испаряется.

Движение не остановится?

Свет не погаснет?

Спокойно идите к своим семьям, банкам и фабрикам!

— Тройственный союз отменил забастовку.



„Элемент мира, — клялись вожди профсоюзов Ллойд-Джорджу, — еще пересилит элемент войны"

Правительство Болдуина взяло шахтовладельцев к себе на иждивение

Радиомоление о мире на земле

15 апреля пришлось на пятницу. Отныне этот день, в который совершилась незабываемая измена вождей массам, стал известен рабочим, как „черная пятница". Прошло четыре года, и наступил день, который предатели попытались было, вспомнив о тяжелом поражении рабочего класса в 1921 году, окрестить „красной пятницей".

Этот день был пятницей 31 июля 1925 года. В этот день правительство Болдуина решило путем материальной уступки застраховать себя на время от всеобщей стачки.

Вожди Генсовета профсоюзов считали это решение своей победой. Они были уверены, что наряду с „черной пятницей" история классовой борьбы занесет в их личное дело и эту „красную пятницу", искупающую их вину перед миллионами английского пролетариата, достойными которых они так страстно желали сделаться, что даже просили об этом господа-бога.

31 июля правительство Болдуина постановило, что на целых девять месяцев берет угольных баронов к себе на иждивение. В течение этих девяти месяцев (до 30 апреля 1926 года) правительство будет выплачивать шахтовладельцам субсидию. Эта субсидия представляет собой ту сумму, на которую шахтовладельцы хотели ограбить горняков, грозя им локаутом, если они не пойдут на новое снижение заработной платы. Генеральный совет профсоюзов с твердостью в голосе заявил, что поддержит горняков, что не остановится перед всеобщей забастовкой. Правительство еще не вполне подготовилось к всеобщей забастовке и потому согласно заплатить миллионы, чтобы отсрочить ее до более удобных времен. Шахтовладельцы заявляют, что им все равно, с кого получать — с правительства или с горняков, — что они только настаивают на „справедливой прибыли", а коль скоро эта прибыль обеспечена, они отменяют решение о локауте.

Таково было содержание этой „красной пятницы".

Приняв решение о субсидии, правительство консерваторов обратилось через своего министра Черчилля к вождям Генсовета с неофициальным назиданием.

— Смотрите, уважаемые джентльмены, — внушительно говорил Черчилль, — субсидия шахтовладельцам обойдется, конечно, дешевле революции. Но эта субсидия будет заплачена за ваш счет.

„За ваш счет" — это означало за счет английского пролетариата. Черчилль не был настолько бестактен, чтобы разделять счет богатенького Томаса и нищего шахтера.

И вот пришло время расплаты за эту субсидию. В марте 1926 г. правительственная комиссия, обследовавшая угольную промышленность, опубликовала свой отчет. Комиссия предложила горнякам согласиться на урезку зарплаты, а правительству — выкупить шахты, заплатив владельцам миллиард рублей чистоганом.

Весь апрель шли переговоры, свидания Генсовета с правительством, встречи Генсовета с шахтовладельцами, совместные заседания всего этого „треугольника", каждый угол которого был исполнен одного и того же желания — остановить надвигающуюся лавину.

Этот месяц правительство хорошо использовало. Оно все время стягивало войска, проверяло и укрепляло свою штрейкбрехерскую организацию.

30 апреля кассир государственного банка выдал последние деньги в счет субсидии. К часу дня рассчитано уже свыше 40 тысяч шахтеров, и шахтовладельцы вносят свои окончательные предложения — сократить зарплату, удлинить рабочий день.

1 мая около четырех миллионов рабочих высказались за всеобщую забастовку.

Противники забастовки собрали только 50 тыс. человек. Вечером Генсовет предлагает отдельным профсоюзам начинать забастовку. Вечером Болдуин обращается с посланием к капиталистам, чиновникам, штрейкбрехерам, армии: „Держите ь твердо. Помните, что мир на земле приходит к людям доброй воли".

Генсовет также рекомендует „держаться твердо", а сам не отказывается еще два дня вести переговоры с Болдуином.

Окончательный разрыв происходит 3 мая. В тот же день Болдуин ободряет и штрейкбрехеров с парламентской трибуны: „Ни один рабочий, остающийся на работе, за это не пострадает".

Призыв премьера не дошел до масс.

4 мая в Лондоне не было ни света, ни газеты. Поезда не пришли и не отошли. Парламент заседал во мраке.

Колеса перестали грохотать

ПОДЪЕМ рабочего класса превзошел все сметные предположения. В одну минуту перестали грохотать все колеса. На инался великий реванш за „черную пятницу".

Правительство было потрясено. Испугался досмерти и Генсовет.

Улицы Лондона приняли необычный вид. Лишь изредка промелькнет легковой автомобиль, управляемый с мим владельцем. Фабрики и заводы закрыты, закрыты конторы и магазины. Никто не пытается оживить их. Только порою пройдет к дверям своей конторы старый, по-собачьи преданный хозяину клерк, беспомощно потолчется у дверей и уходит под насмешки зрителей. Бешено снуют взад и вперед военные грузовики. Они свозят в центральные парки оружие и продовольствие. Набережная порта переплетена временными кабелями. Это подводные лодки и крейсера пытаются дать свет городу от своих турбин. В театрах расположились отряды штрейкбрехеров, которые ждут приказов.

Правительство готовится самым энергичным образом. А Генсовет?

Генсовет не готовился до забастовки. Не готовится и теперь. Правительство стягивает войска, расставляет пулеметы, организует фашистов. А Генсовет только предписал остановить работу — и все. Остальное взяли на себя местные рабочие организации, на которые больше, чем на Генсовет, давила боевая активность масс. Там на местах шла организация пикетов. Забастовочные комитеты действия отодвинули на задний план „законную власть". На местах эта „законная власть" беспомощно отступила перед забастовкой.

В разгар забастовки два журналиста — один из которых примыкал к рабочей партии, а другой работал в газетах консерваторов — совершили в автомобиле поездку по Англии. Оба увидели одно и то же — классовый энтузиазм миллионов, их грозную решимость. Оба писали что миллионы пролетариев полны революционной воли поставить своего врага на колени. Они встречались с этой волей в промышленных центрах — в Манчестере, в Шеффильде, в Глазго, в Л верпуле — и в самых захудалых деревушках, где еще недавно авторитет местного ленд-лорда (помещика) стоял на недосягаемой высоте.

„Чиновники федерации углекопов, — с горьким злорадством пишет сотрудник газеты крупного капитала, — получили здоровый пинок от шахтеров. С профсоюзными чиновниками совершенно не считаются. Всю власть в свои руки взял комитет дейс вия".

Во многих местах штрейкбрехеры получали от комитета действия категорический приказ:

„Вы должны немедленно прекратить работы, так как вы не работали на этом месте, когда началась всеобщая забастовка".

Этим приказам подчинялись безоговорочно.

Жадно ищет журналист-консерватор такого патриота, который не подчинился бы комитету действия. С большим трудом он нашел такого патриота. Но это был торговец, который, в ответ на запрещение комитета действия развозить своими средствами товар по городу, начал раз-

Лавочник размахивал национальным флагом

махивать перед представителем комитета английским флагом и заявил, что подчиняется только „законному правительству" его величества.

Более утешительных картин противодействия всеобщей стачке корреспондент на всем своем длинном пути не нашел.

Журналист рабочей партии писал о том же, только не давал воли своей великой антипатии к забастовке. Он писал о переполненных залах хлебной биржи, о растущем революционном настроении забастовщиков. Пользуясь библейским сравнением, корреспондент брал на себя смелость утверждать, что такого возбуждения в стране не было „со времен потопа".

Корреспондент не мог скрыть, что его ужасно поразила разница в настроениях на местах и в Эклестон-сквере [1]. На местах плавленная готовность по-боевому развернуть дружно начатое классовое дело. На местах комитеты действия захватывают власть. В Эклестон сквере вожди Генсовета ходят на цыпочках и говорят шопотом Они хотят провести стачку так, чтобы не разбудить бабушку. Эта милая бабушка, которую жалко будить, — английская буржуазия.

На местах бабушку не стеснялись будить. На местах ее так трепали, что она холодела от ужаса и переставала брыкаться.

Орган английской компартии „Уоркерс Уикли" ярко рассказал, как это происходило в Метиле. Вся власть в округе сразу перешла к совету действия. У заводов, у входа в шахты, у железнодорожных депо стояли пикеты. Три автомобиля, сотня мотоциклов, и бесчисленное количество велосипедов развозили по округу информацию совета действия. Полицейские отряды попытались разогнать пикеты. В ответ на эти атаки состав рабочих дружин вырос в пять раз. Дружинами командовали бывшие унтер-офицеры, которые во время империалистической войны получили достаточный опыт для войны гражданской. Получив крепкий встречный удар, полиция закаялась атаковать пикеты. До забастовки в Метиле была всего лишь одна партийная ячейка из 6 чел. В первые же дни стачки число коммунаров выросло до 300 чел. Это был отряд организаторов борьбы, которым всецело доверяли массы.

Проходили горячие, исторические дни. Каждый такой день был подготовлен долгими годами. Потерять такой день значило отодвинуть историю назад. Но Эклестон-сквер молчал.

А бабушка, которую они не хотели будить, и не думала спать. Она очень деятельно готовилась к схватке все то время, пока кассир государственного банка выплачивал субсидию.

[1] Улица в Лондоне, на которой помещается дом Генсовета.

Главное — это улыбаться без конца

Только две ежедневных газеты выходили в Лондоне. Одна — правительственный листок „Бритиш Газетт", другая — листок Эклестон-сквера — „Бритиш Уоркер".

Правительство писало в своей газете грозные приказы, ободряющие статьи, обращения к штрейкбрехерам. Бабушка писала барабанным стилем. Она устроила так, что газета расходилась по всей стране. Деликатные вожди из Эклестон-сквера даже и этого устроить не могли. Один из очевидцев рассказывает, что в самые последние дни дочь Макдональда — Изабелла Макдональд попыталась с подругами наладить рассылку „Бритиш Уоркер" и не преуспела в этом.

Впрочем, нужен ли был на местах „Бритиш Уоркер"? Ни в какой мере. Своим содержанием он никак не помогал борьбе.

„Бритиш Уоркер" советовал забастовщикам прежде всего улыбаться. Через два дня после начала стачки листок опубликовал незабываемые правила жизни для рабочих.

„Постарайтесь действовать так, чтобы все окружающие вас носили улыбку на лице. Для достижения этой цели вам самим надлежит улыбаться. Делайте все возможное, чтобы не дать хода идеям насилия и беспорядков. Не сидите сложа руки, занимайтесь чем-нибудь. Болтаться по улицам, обмениваться слухами — никуда не годится".

Все спокойно, нет работы для полиции, восхищался „Бритиш Уоркер". Какая там работа для „Бобби" [2], если обе стороны ведут себя так мило. В Пимуте состоялся футбольный матч между бастующими и полицейскими. Победили забастовщики. Матч открыла жена начальника полиции.

Эти сообщения „Бритиш Уоркер" печатает, как достойный подражания пример поведения забастовщиков.

Не ходите по улицам, не пойте революционных песен, не выкидывайте красного флага, не думайте о насилии над теми, кто поработал в с, занимайтесь домашней работой, играйте в футбол с полицией, которая по первому приказу будет расстреливать вас сотнями, следите за вашим здоровьем и, главное, улыбайтесь, постоянно улыбайтесь.

Вожди Генсовета призывали пролетариат к улыбке, а сами дрожали, как заяц, у норы которого сидит лисица. Самыми напуганными людьми в Англии были в эти дни заправилы Эклестон-сквера. Они всего боялись. Боялись полиции, боялись, что правительство опечатает их кассу, но пуще всего они боялись тех, кого вели за собой. Десятки, сотни раз, во всех речах и воззваниях, в парламенте и на митингах, в „Дейли Геральд", в летучках и в „Бри-

[2] Кличка полицейского.

тиш Уоркер" они повторяли, что пролетариат ведет только экономическую борьбу, что эта борьба должна проходить без политики, без революционных выступлений, без боевых настроений. С великой неохотой они призвали миллионы рабочих бросить работу. Невиданный взрыв активности рабочего класса испугал их досмерти. С той минуты, когда они убедились, что всеобщая стачка стала грозной для старого мира реальностью, они думали только о том, чтобы покончить с этой реальностью. Они искали первого повода, чтобы обезглавить то, что возглавили. В 1921 году Томас быстро нашел такой повод. И в 1926 году повод был найден быстро и подло.

11 мая судья Астбери заявил, что на основании действующих в Англии законов всеобщая стачка незаконна. 12 мая Генсовет покорно склонил голову перед решением судьи Астбери. Генсовет прекращает стачку, чтобы не нарушать английских законов.

С этим заявлением Генсовет в полном составе явился на Даунинг-стрит. Тупой и глупый председатель Генсовета—Пью начал длинную речь о том, как и почему прекращается забастовка.

— Забастовка прекращается немедленно?—строго прервал его Болдуин.

— Да, сэр, немедленно!—покорно ответил Пью.

— Ну, что же, поблагодарим бога за ваше решение.

Вожди Генсовета по орились закону. Старые английские законы, которые меняются не быстрее, чем суша отступает перед водой, законы, над которыми едко смеялись давным давно истлевшие в могиле буржуазные сатирики, эти законы оказались для Генсовета убедительнее, чем воля миллионов пролетариев. Генсовет отказал этим миллионам в праве создавать новые законы. Генсовет обрадованно забил отбой и оставил без помощи армию горняков. Без помощи их оставил и II Интернационал и Амстердамский интернационал профсоюзов. И только советские профсоюзы протянули горнякам руку помощи.

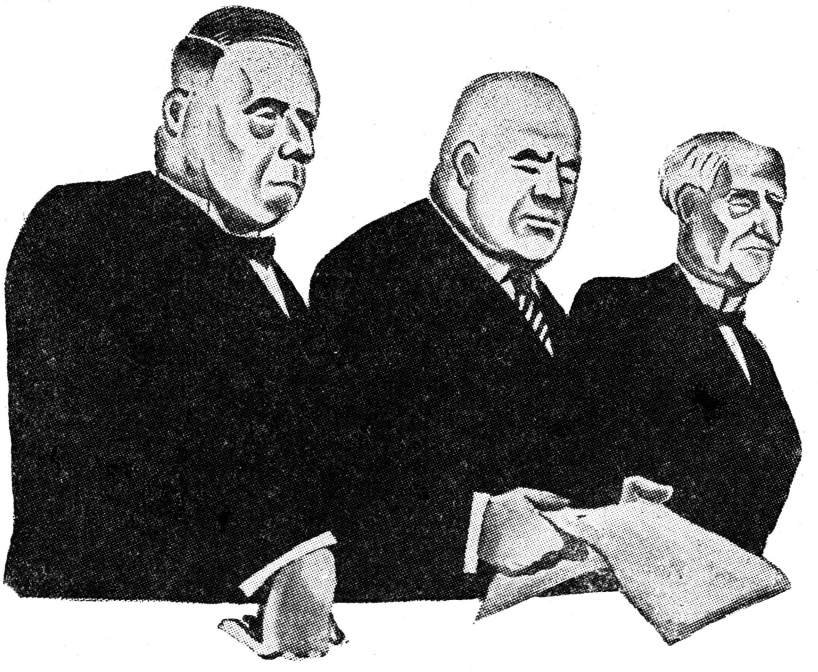
Десять лет прошло со дня „черной пятницы", пять лет отделяют нас от всеобщей забастовки. Эти пять лет были периодом непрерывного наступления капитала на английский пролетариат. За эти пять лет Генсовет ни разу не обмолвился ни одним революционным словом, что с ним порою случалось до 1926 года. Он потерял всякую способность к этим словам, когда убедился, что активность рабочего класса превосходит ожидания Генсовета. С тех пор Генсовет молчит или говорит языком соглашательской канцелярии. Он молчит и теперь, — когда по капиталистическому миру гуляет кризис и яростно готовится нападение на СССР, когда сидят без работы три миллиона пролетариев. Он и плохого слова не скажет по поводу того, что теперешние министры — люди одной с Генсоветом партии — отказывают в приеме делегациям безработных. Они молчат и тогда, когда полиция, управляемая этими министрами, разгоняет манифестации сабельными ударами.

Вожди профсоюзов склонялись перед законом...

Вожди Генсовета уже не могут отучиться говорить шопотом. Их голос пропал Они потеряли доверие английского пролетариата. Их место займут компартия, революционная оппозиция в профсоюзах, те вожди, которые говорят полным голосом, голосом приближающейся социальной революции.

ПРИЗРАК

Л. Григоров *Рис. Богдановича и И. Сегаля*



Председатель суда уже допрашивал семнадцатого подсудимого

I.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ суда Артур Саммер был расстроен и тосковал. Он старался углубиться в разбираемое дело, оно было серьезно, но судейские мысли пересекались разной мелочью, домашними делами, дрязгами. Впрочем, это были не совсем мелочи и дрязги. Семейная жизнь полна важных моментов, тревог и забот. Семья — это маленькое государство, которым так же трудно управлять, как и большим.

Председатель суда Артур Саммер допрашивал уже семнадцатого подсудимого. Кроме этого сутулого вихрастого парня, что стоит сейчас на видном месте и ждет вопросов, остается еще не опрошенным двадцать один бунтарь.

Подсудимые упрямо походили друг на друга. Все — рабочие. Артуру Саммеру они кажутся однообразными серыми пятнами. Рабочие. Они поочередно становятся на одно и то же место и отвечают, как ученики заученный урок.

— Вы принимали участие в демонстрации на площади Свободы 8 февраля?

— Да, я принимал участие...

— Вы бросали камни в представителей власти?

— Нет.

— И не стреляли?

— Нет.

— Так что же вы делали на площади Свободы? — поднимал голос Артур Саммер.

Тут маленькая заминка. И потом откровенное признание:

— Все мы протестовали против ареста Иоганна Румеля. Мы требовали его освобождения.

— Так. Та-ак... А вот в свидетельских показаниях...

Эти показания конечно отвергались. Никто, оказывается, не стрелял и не бросал камней. Шишки на головах полицейских выскакивали сами собой. А пули вылетали из неизвестно чьих револьверов.

— Кто же стрелял, скажите пожалуйста? — еще на ноту выше поднимает голос Артур Саммер. Исподлобья он остро вглядывается в подсудимого.

— Не знаю, — тихо звучит в зале.

У Артура Саммера неприятно играют нервы. Точно пляшут. Он с ненавистью поглядывает на спокойно стоящего парня... Недурно было бы шлепнуть его по физиономии... раз-другой... „Не стрелял, говоришь? — получай! Не бросал камней? — получай еще! Раз! два!“ Гм... Надо передать его прокурору, пусть он немного повозится с ним.

Прокурор Трайнен скучал. С утра он был оживлен и даже испытывал припадки судейского вдохновения. Он охотно задавал свои полные яда, колкие вопросы одному, другому, третьему... Он находился, что называется, в ударе. Одного бунтаря он прижал к стене, просто распял его, уничтожил. С бунтовщиком этим случилось что-то вроде конвульсий. Пришлось убрать его. Потом прокурору все надоело. Процесс слишком растянулся. Председатель вяло ведет его. И прокурор Трайнен решил не тормозить с своей стороны. Он наглухо замкнулся и молчал.

— Ганс Лойден! — громко вызвал председатель.

Глаза публики кинулись в сторону подсудимых. Небольшое движение, легкий шопот. На видном месте встал невысокий молодой человек, худощавый, бритый, одетый в чистую черную тужурку. Острые серые глаза его бросают в надушенный воздух горячие искры. Аристократическая публика с любопытством оглядывает его. Дамы навели изящные лорнетки. Тускло блеснули два-три бинокля. Впрочем Ганс Лойден внешностью своей представлял мало интересного: худ, тощ, некрасив.

В зале тихо. Артур Саммер задает вопрос:

— Ваши имя и фамилия?

Молчание. Ганс Лойден молчит несколько секунд. Он точно забыл свои имя и фамилию. С ним что-то делается. Он топчется на месте, будто хочет сделать прыжок... Артур Саммер с некоторым интересом разглядывает его. Это не совсем серая фигура. Это — зачинщик, толкач, чрезвычайно вредный микроб. Но что он так долго тянет с ответом!

— Прошу вас отвечать на вопрос, — с нажимом говорит Артур Саммер.

— Отвечать? Почему я должен вам отвечать? — Ганс Лойден взволнован, но сдерживает себя.

— Потому что вы находитесь перед судом. — Артур Саммер старается не обнаружить охватившего его бешенства.

— Для меня это не суд. Я в плену. Я вижу пред собой обыкновенных палачей победившей на этот раз буржуазии. Вы исполняете то, что вам приказывают хозяева.

Резкая тишина. Зал окаменел. Ганс Лойден остановился на несколько секунд, будто и сам был поражен тем, что сказал. Быстрым взором он пробегает по головам притихшей публики, дергает головой, — волосы взметнулись и встали торчком, — и опять он устремляется на судей, он смотрит на них, как на пойманных наконец, долго и мучительно беспокоивших воров, — наклонившись, он пронзительно вглядывается в них, — и в зале снова звенит его высокий голос.

— Замолчите сейчас же!.. — пришел наконец в себя Артур Саммер. Он побледнел, желтые пятна отчетливо запеклись на его крупном лице и потемнели, стали коричневыми. Вместе с окриком председателя очнулась и публика. Она зашевелилась, зарокотала, потрясенная, изумленная, задетая за живое.

— Лишите его слова! — покрыл шум публики крепкий мужской голос.

— Браво, Ганс! — прогудел густой бас в рядах подсудимых.

— Вывести его из зала! — прямо в лицо Гансу Лойдену визгливо крикнула дама, сидевшая в первых рядах.

— Тише, господа! — звучно сказал Артур Саммер. Он еще позвонил и похлопал дрожащей рукой по зеленому столу.

Покрывая шум в зале, высоко взлетел звенящий голос подсудимого Ганса Лойдена.

— Вы не судьи, а свора палачей — гремел он. — Я это громко, на весь мир, заявляю вам!

— Замолчи, Ганс! Что ты делаешь?! — вырвался из публики крайне встревоженный женский голос.

И почти вместе с ним сердито прозвучал новый окрик председателя суда:

— Молчать! Еще одно слово, — и я...

К Гансу подскочил сильно взволнованный его защитник. Полы черной визитки его взвились, как два крыла.

— Что вы делаете?! — испуганно забормотал он, приблизив свое лицо к его лицу. — Перестаньте, я прошу вас.

Ганс не обратил на него внимания.

— Вы добиваетесь правды, — громко продолжал он, — хотите знать, кто ранил двух ваших собак-полицейских? А почему вы не позаботитесь узнать, кто из этих собак убил на демонстрации 8 февраля трех рабочих и ранил восьмерых?..

— Я приказываю вам молчать! — бросил Артур Саммер.

— Ганс!.. — умоляюще прозвенел из публики молодой женский голос.

— Вы не заставите меня молчать! Вы не страшны мне, жалкие трусы!..

— Браво, браво, Ганс! — грохнуло уже несколько голосов в рядах подсудимых. Среди них сильное волнение. Они переживают и ужас и радость. Лица у некоторых совершенно опрокинуты: что теперь будет с их Гансом!..

— Вывести его! — закричал Артур Саммер.

Охрана бросилась исполнять приказание. Ганса потащили к маленькой двери в задней стене зала. Повернув голову, он успел сказать еще несколько слов...

Дверь захлопнута. Все стихло. В зале высоко напряженная тишина. Много бледных лиц. Сверкают гневом глаза. Кто-то тяжело дышит. Подсудимые тихо волнуются, более нервные колышутся на своих местах, иные мрачно уставились в одну точку, застыли.

Артур Саммер, кашлянув, обращается к членам суда. Он наклоняется к их ушам, что-то шепчет... Члены суда кивают головой. Артур Саммер удовлетворен их ответом и поднимается.

— Суд объявляет перерыв, — нервно говорит он.

II.

ДЕЛО Ганса Лойдена было выделено и через два дня в экстренном порядке слушалось в том же зале при закрытых дверях. Ганса обвиняли в оскорблении представителей суда при исполнении ими своих обязанностей. Обвинение было построено таким образом, что в полной мере подходило под статью, карающую смертной казнью.

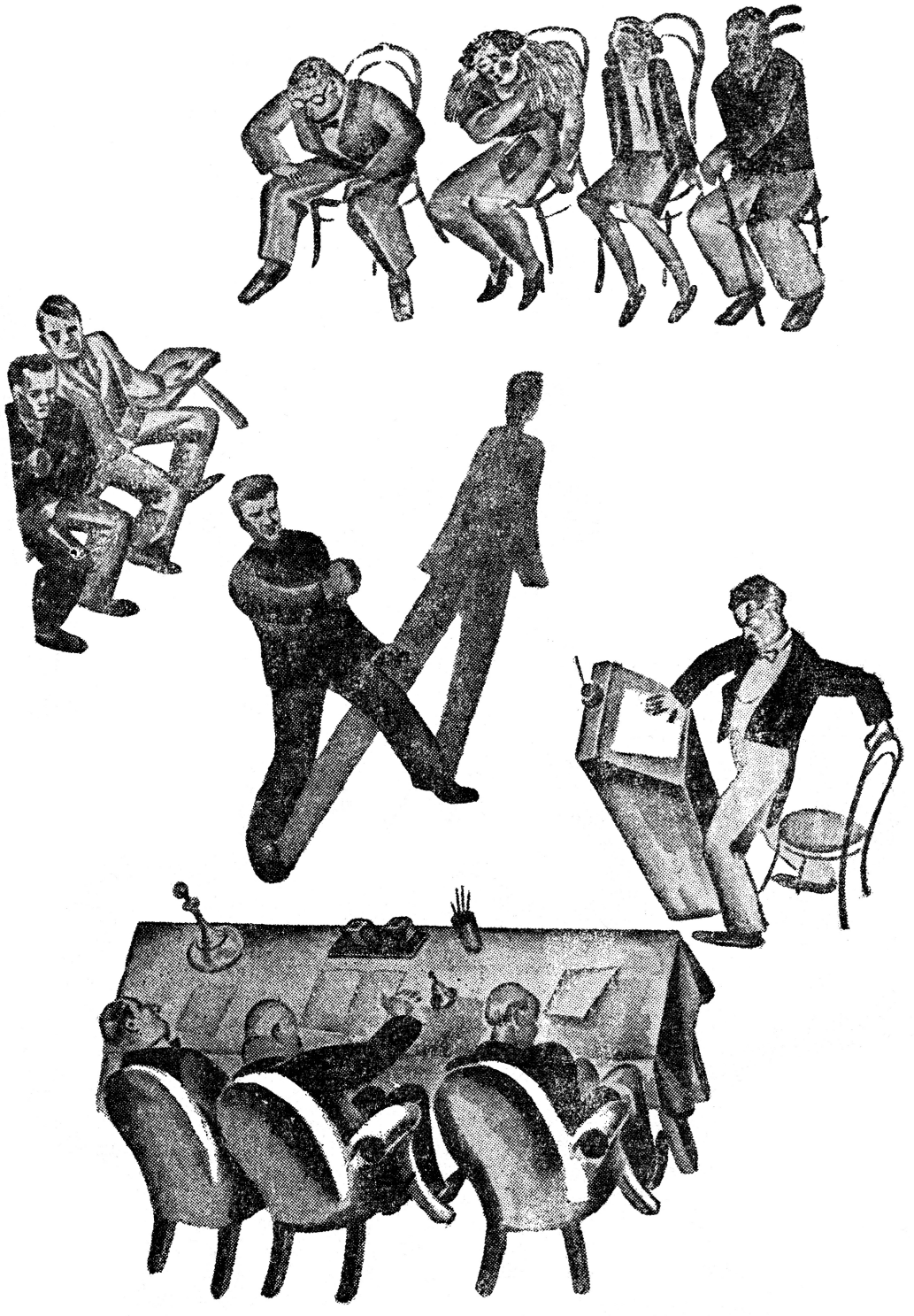
Председательствовал Артур Саммер. Он был бледен, серьезен и деловит. Прокурор Трайнен сжимал сухие тонкие губы и смотрел куда-то в сторону. Члены суда были важны и торжественны.

— Признает ли подсудимый себя виновным в том, что при разборе дела о демонстрации на площади Свободы...

— Признаю! — резко перебивает Ганс. — Даже больше, я подтверждаю, что вижу перед собой не судей, а...

— Ведите себя поприличнее, — поднял голос Артур Саммер. — Ваша ругань все равно никем не будет услышана.

— Ошибаетесь! Каждое слово мое прозвучит во всем мире. Но тут вот



— Вы не заставите меня молчать! — гремел на весь зал Ганс Лейден

в чем вопрос: для чего понадобилось вам устраивать эту комедию суда? Разве вы не вынесли уже мне приговора? Ну, зачем вы устроили этот закрытый даже для вашей публики театр?.. Неужели для очистки своей совести? Но ведь вы ее ничуть не очистите, ее трудно очистить. Совесть ваша грязна до самого дна! Да у вас вовсе и нет никакой совести. Вместо нее в груди вашей помойные ямы. И эти ямы, как заслонками, прикрыты вашими сытыми „благородными" лицами...

Артур Саммер, прокурор Трайнен, оба члена суда и еще несколько присутствовавших господ из официального мира слушали Ганса Лойдена теперь спокойно. Пусть он говорит, что ему угодно.

Артур Саммер сидел в своем высоком кресле совершенно невозмутимый. Но сквозь эту невозмутимость чуть уловимо пробивалось тонкое, едва приметное удовлетворение. Очень хорошо, что этот щуплый малый два дня назад проболтался таким откровенным образом... Это — неугомонный бунтовщик, заводчик, активнейший враг существующего порядка. Очень, очень хорошо, что он такой откровенный... Что он там еще болтает? Послушаем...

Ганс Лойден заговорил о гнусности капиталистической системы. Эта система одряхлела. Она отжила свое. На смену ей идет новая жизнь без торгашей, без грабителей, без разбойников.

— На востоке уже началась эта новая жизнь! И она движется на вас. Она скоро поглотит вас! Она поглотит буржуазию и ее прислужников. Новая жизнь превратит в пыль капиталистическую систему — и на всей земле будет одна единая Коммуна!..

Вдруг зашевелился толстый член суда. Он не выдержал слов Ганса. Это уж слишком!.. Должны же быть границы?.. Толстый член суда просит слова. Артур Саммер делает гримасу, он удивляется своему коллеге... Стоит ли волноваться... Толстый член суда однако не может не волноваться, это свыше сил его, в нем все клокочет... Но Ганс Лойден умолкает. Он уже все сказал и повалился на скамью. Он стиснул зубы и замолк. Он кончил. Делайте с ним что хотите. Он готов...

Артур Саммер еще раз наклоняется направо и налево. Чуть заметно шевелит губами. Члены суда, кратко подумав, кивают головами. Артур Саммер, поднимаясь, говорит:

— Суд удаляется на совещание.

Через десять минут был вынесен приговор. Суд определил:

— Слесаря Ганса Лойдена расстрелять.

III.

ПРИГОВОРИВ к смерти Ганса Лойдена, Артур Саммер был совершенно спокоен. Ни один политический преступник, ни какой-либо бандит или отчаянный убийца не вызывали в нем такой ненависти как этот Ганс Лойден. Подписывая ему страшный приговор, Артур Саммер чувствовал полное удовлетворение. Правда, в момент подписания случилось что-то такое странное: на смертном листе, гладком и белом, как мел, на том месте, где надо было начертать свою фамилию, Артур Саммер вдруг увидел изображение Ганса Лойдена... Смертник с бумаги взглянул на него... Артур Саммер вздрогнул, откинулся от стола и едва не бросил ручку с пером. Но тут же спохватился и, сильно надавливая, быстро вывел свою подпись. Изображение Ганса Лойдена исчезло...

— Так, — подумал Артур Саммер. — Я немножко болен. Это никуда не годится. Придется полечить нервы.

Утром на другой день — солнце в это весеннее утро сияло необычайно приветливо — Артур Саммер чувствовал томление в теле. Он посмотрел на календарный листок и облегченно вздохнул: сегодня у него нет никаких непременных обязанностей. Он может побыть дома в кругу семьи. Ему требовался покой, легкое развлечение.

За утренним завтраком он весело болтал с детьми и Агнессой. Старший Арнольд рассказал несколько новых анекдотов.

Берта много болтала о своем профессоре музыки, с которым она занималась по классу рояля. Профессор находит у нее большой талант и предсказывает ей блестящее будущее.

— Только лень заниматься, папа. Ужасно надоело заниматься.

— Эх, ты, лентяйка! — пожурил белокурую Берту Артур Саммер. — Ты должна преодолеть свою лень. Гений— это трудолюбие.

Маленькая Мильдочка тепло обнимала его. Агнесса благоухала, разливая кофе. Она блистала молодостью и была в это утро необыкновенно хороша. Все как будто наладилось и дышало гармонией. Артур Саммер наслаждался. Ему казалось, что благоразумие членов его семьи взяло верх и восторжествовало в полной мере.

После завтрака Артур Саммер сидел в кабинете и курил любимый табак. Он предавался отдыху.

Через некоторое время до слуха его донесся какой то отдаленный и неясный шум. Будто где-то далеко гудела нагруженная железом телега. Он не обратил на этот шум внимания. Через несколько минут зашумело поближе, будто телега с железом выкатилась из-за б ижайшего угла и приблизилась к его дому. Гул рос и крепчал. Но это было что-то другое, а не тел га с грузом. Артур Саммер оставил чтение и несколько времени прислушивался... Затем он подошел к окну, выходившему на улицу, взглянул на широкую мостовую. На ней около дома было пусто. Но гул приближался. Артур Саммер открыл большую форточку и выглянул из нее.

Через несколько секунд он спрыгнул с подоконника. Выр жение лица его было такое, точно он только что больно ушибся или у него внезапно и остро заныл зуб...

— А-а!..—морщась, протянул он.— Это безобразие!..

К дому его приближалась толпа рабочих с красным флагом. Толпа шумела, волновалась, что-то выкрикивала. Ярсстные крики рвали воздух и создавали невыносимый диссонанс на тихой фешенебельной улице...

Артур Саммер сразу понял, в чем дело: рабочие протестуют... Он еще раз выглянул из форточки, красное знамя опять бросилось ему в глаза, и на нем он прочел:

„Освободите Ганса Лойдена!"

Демонстрация протеста... Он поспешно захлопнул форточку. Это возмутительно. Ему не дают хоть немного отдохнуть. И как это допустили дикое сборище под его окнами?!

Со второго этажа, сквозь стекла, он смотрел на бушующую толпу, и зрелище это и тревожило его, пугало и вызывало негодование. Крики на улице были настолько сильны, что ясно были слышны отдельные слова:

— Амнистию Гансу Лойдену! Амнистию!.. Убийца!..

В кабинет вбежала кухарка Софья. С перепугу она на могла говорить и только мотала головой и терла грудь. Артур Саммер бросился к телефону. Он несколько раз топнул ногой, пока его соединили с главой полиции. Тоном начальника он потребовал, чтобы к его дому послали сильный отряд надежных людей...

— Не медленно! Сейчас же! — кричал в трубку Артур Саммер. — О оло моего дома собралась шайка... Надо разогнать ее! Арестовать главарей!..

— Амнистию Гансу Лойдену! — неслось с улицы.

— И не стесняться! — кричал в трубку Артур Саммер.

— Долой смертную казнь!—билось в окна.

— Без жалости!..—хрипел Саммер.

— Остановитесь, палачи!..

— Все!—злобно закончил председатель суда и бросил трубку.

Он взглянул в окно. За окном рвалась в ярости тысячная толпа — это было нестерпимое зрелище! Наконец это было небезопасно... Он чувствовал слабость в ногах и с трудом отошел от окна. Синими губами он послал

За окном ревелась в ярости тысячная толпа

по адресу полиции с десятком отборнейших проклятий. Как это полиция допустила сборище около его дома?.. Эти бандиты, эти серые пятна могут ворваться к нему, могут убить его!..

Задребезжал звонок телефона. Артур Саммер схватил трубку.

— Кто говорит? Кто, кто? Да, да, я—Саммер. Что-о?..

— Вы — убийца! — звенел в ухо Артуру Саммеру чей-то женский голос.—Уби-и-йца!..

Он с отвращением бросил трубку.

— Дзинь... динь-динь!.. — разлетелось вдребезги оконное стекло, и большой камень влетел в кабинет, стукнулся о ножку кресла и скрылся под столом.

Артур Саммер почувствовал себя безнадежно несчастным, забытым, заброшенным. Он решил оставить кабинет. Слабеющими ногами, пошатываясь, он пошел к выходу, вышел в коридор. Он решил укрыться в спальне, окна которой выходили во двор. В коридоре он наткнулся на Агнессу и Мильду. Они только что вернулись с гулянья. Агнесса тряслась в страхе, красивое лицо ее дергалось, растягиваясь, удлиняясь, трясясь, как у старухи. Она едва пробилась с Мильдой. Они прошли через черный ход...

— Дзинь! Динь-динь!.. — зазвенело в гостиной, окна которой тоже выходили на улицу.

— Ай-я-яй!.. Боже мой!..—пролепетала Агнесса. Лицо ее перекосилось и посерело.

Мильда, ища спасения, ухватилась за руки отца.

— Ничего, ничего... — пробормотал он. — Это... это скоро пройдет... Еще несколько минут... Идемте же в спальню!—надрывно выкрикнул он и потянул Агнессу.

Мильда висела на нем, и он с трудом зашагал в глубину коридора, к спальне. И плетясь он лепетал пляшущими в волнении губами:

— Сейчас, сейчас... Им покажут... покажут, как шуметь... О-о! Им дадут

амнистию... Они узнают эту амнистию!

...Через полчаса улица была очищена от демонстрантов. Полиция добросовестно выполнила данное ей поручение. Несколько рабочих пришлось угостить ударами сабель. Их отвезли в тюремную больницу. Человек десять было арестовано. Рабочие сделали все, чтобы спасти Ганса Лойдена. Им это не удалось...

Нервное потрясение, перенесенное Артуром Саммером, заставило его лечь в кровать. Был вызван домашний врач. Он прописал успокоительные капли. К вечеру Артуру Саммеру стало легче. Он вышел к обеду. Увидев его, Арнольд заговорил о рабочей демонстрации около их дома. Артур Саммер перебил его.

— Никакой демонстрации вовсе не было, — раздраженно сказал он. — Просто собралось несколько бродяг. Они получили по заслугам. И довольно о них.

— А кто такой Ганс Лойден?—беззаботно спросила маленькая Мильда.

— Это один из их шайки,—ответил Артур Саммер.

— Разбойник?

— Да.

— А мы, папочка, так испугались... Так страшно, когда нападают эти разбойники... А много людей убил этот Ганс Лойден?

— Не нужно о нем больше говорить, — нервно произнес Артур Саммер.

Обед прошел в тяжелом молчании.

IV.

ЗДОРОВЬЕ Артура Саммера настолько пошатнулось, что ему понадобился длительный отпуск. Получив его, он вместе с семьей уехал в Италию.

Та весна, что была на севере, на берегу Неаполитанского залива представлялась холодной осенью. В Италии солнце грело так приветливо, так ласково, что утомленному Артуру Саммеру хотелось и плакать и смеяться. Он благодарил небо за это ласковое тепло и, охваченный восторгом от прелести итальянской природы, он едва не написал стихотворения на тему о горячем синем море, омывающем землю, усеянную апельсиновыми и лимонными рощами.

Чудесные растения тучной итальянской земли звали к жизни. Особенно великолепны были пунцовые розы, тысячи, миллионы роз!..

Артур Саммер с семьей поселился на берегу залива в уютной и просторной вилле разорившегося негоцианта. Вилла была тесно сжата изумительной растительностью, вилла утопала в цветах. Пинии, кактусы, смоковницы, олеандры переплетались с апельсиновыми и лимонными деревьями, которые всем северянам казались сказочными.

— Это рай земной, дети мои!—восклицал Артур Саммер, наслаждаясь ароматным воздухом.—Я думаю, моим нервам придется теперь успокоиться и прийти в надлежащее равновесие.

Но великолепнее всего остального были вечера. Огромное красное светило тихо укладывалось на западе. По темно-изумрудной воде широко разбегались живые куски золота. Солнце исчезало, небо ежеминутно меняло свои цвета, темнело золото на воде. Игра цветов в небе взрывала в сердце бесконечные восторги. Палитра неба была насыщена необычайными красками...

Наступала тьма. И тогда еще сильнее действовали цветочные запахи. От них просто кружилась голова. Вечерная жизнь на берегу горячего моря дарила Артура Саммера музыкой и пением.

Артур Саммер отдыхал и наливался здоровьем.

— Я скоро буду атлетом,—говорил он.

Однажды утром вся семья сидела на террасе и, после обильного первого завтрака, предавалась приятному ничегонеделанью. Впрочем Арнольд читал интересный переводный французский роман, а Берта сделала несколько попыток сыграть с листа модную в Италии песенку и у нее

ничего не вышло. Она подсела к отцу и Агнессе, удобно полулежавшим в мягких качалках.

— Смотрите, какой красивый корабль! — вдруг воскликнула Берта.

Все обратили взоры к морскому горизонту. Взорам представилось действительно красивое зрелище: в глубину солнечно-синего залива плыл великолепный военный крейсер, окрашенный в светлосерую краску. Крейсер был наряден, сверкал на солнце, поблескивая металлическими частями.

Артур Саммер с восхищением смотрел на морского красавца. Берта продолжала сыпать комплименты по его адресу.

— Красный флаг!—изумленно сказала она.

— Да, да! — подхватил Арнольд. Он сделал выразительную гримасу. — Это большевистское судно, папа...

— Оно поворачивает... — замирая в неге, проговорил Артур Саммер.

— А как оно называется? Я сейчас принесу бинокль.

Через минуту Берта вышла с биноклем. Она направила его на крейсер.

— „Ганс Лойден", — громко прочитала она на борту его.

— Ганс Лойден, — тихо повторил Арнольд. У него были сильные глаза, далеко видевшие без бинокля.

— Ганс Лойден?.. — вздрогнул Артур Саммер, выравниваясь на качалке.

Крейсер приблизился к вилле, и теперь Артур Саммер без бинокля увидел на борту его эти два слова: „Ганс Лойден".

Лицо его изменилось...

— Ганс... Ганс... Это ведь не русское имя, папочка?—спросила Берта.

Артур Саммер ничего не ответил. Она посмотрела на отца и вдруг переполошилась.

— Что с тобой, папа? Ты побледнел...

Все взглянули на Артура Саммера. Мильда испуганно прижалась к нему. Он в самом деле был очень бледен.

— Ты нездоров, папочка? — заботливо спросила Берта.

Артур Саммер крякнул и, стараясь быть беззаботным, проговорил:

— Я чувствую себя очень хорошо. У меня только немного закружилась голова. Это от жары, должно быть...

— Тогда ты приляг тут, на диване. Расстегнись.

— Ну, что ты выдумала, Берта, — возразил Артур Саммер. — Я совершенно здоров.

После второго завтрака Артур Саммер сидел в удобном бамбуковом кресле. Красавец крейсер, омываемый синими водами, стоял перед террасой. Он блистал на солнце и привлекал людские взоры. Арнольд, Берта и Агнесса любовались им.

— Ага! Я теперь вспоминаю! — вдруг спохватился Арнольд.—Крейсер этот назван именем того рабочего... Ганса Лойдена! Того, который...

— У тебя удивительная память, Арнольд, — с легким раздражением сказал Артур Саммер. — Но давай лучше поговорим о чем-нибудь другом.

Для Артура Саммера самым неприятным было то, что русский крейсер „Ганс Лойден" повидимому надолго бросил свой якорь в заливе. Крейсер назойливо торчал перед виллой, и это вносило некоторую дисгармонию в покойный и бездумный отдых Артура Саммера. Впрочем, особого расстройства он не чувствовал,—было только немного неприятно, взглянув на залив, натыкаться глазами на этот корабль и видеть на борту его: „Ганс Лойден".

Он еще видел, что множество лодок окружило советский крейсер, как какое-то чудо и оттуда слышались крики приветствий. Берту увлекло это паломничество к крейсеру, и она предложила:

— Поедем, папочка, к судну и хорошенько рассмотрим его!

Артур Саммер сморщил лоб и качнул головой.

— Меня это нисколько не интересует. — сказал он.

Остальные члены семьи однако с радостью приняли предложение Берты. Все мигом собрались и покинули виллу. Артур Саммер остался один.

— Мне надо чем-нибудь заняться,— вслух подумал он.—Я почитаю Марка Твена.

Изящный томик скоро очутился в его руках. Первые две три страницы Артур Саммер прочитал с интересом. Потом шутки Твена показались ему слишком скучными. Он оставил книжку. Прошелся по террасе, поглядел на залив... Сверкнул залитый солнцем крейсер и опять в глаза бросилось:

— „Ганс Лойден".

Преодолевая неприятные ощущения, Артур Саммер продолжал смотреть на крейсер. „Все это—чепуха,—думал он.—Все вздор пустой. Глупо придавать какое-либо значение... А судно действительно красивое. Напрасно я не поехал с своими. Очень красивое судно".

— Ганс Лойден... Ганс Лойден...— вслух читал он.

— Все совершенный вздор!—твердо сказал вслух Артур Саммер.—Остатки неврастении. Плевать!

Несколько времени он поглядел еще на крейсер и при этом шептал размеренно и настойчиво:

— Ганс Лойден... Ганс Лойден... Ганс Лойден...

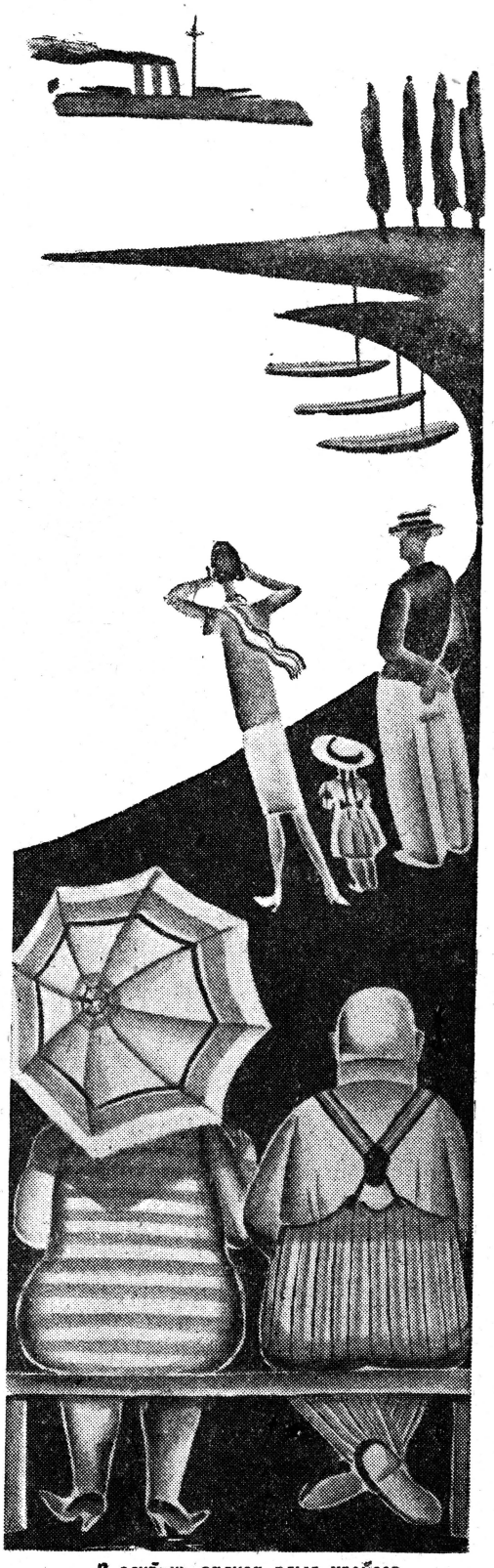
Теперь он совсем успокоился и даже повеселел. Синий залив снова радовал его. Цветы под солнцем попрежнему ярко сияли, райский сад вокруг виллы благоухал и звал к жизни.

Артуру Саммеру захотелось развлечений. Он пойдет прогуляться по городу. Он решил заглянуть в кое-какие магазины и приобрести нужные вещи. Через пять минут он оставил виллу. Нервы его приятно играли. Настроение было великолепное.

На первой же людной улице Артур Саммер был несколько поражен небольшой группой матросов... Он, впрочем, не сразу разобрал, какие это были матросы, и, только приблизившись к ним, он натолкнулся глазами на надпись на черных лентах, оплетавших матросские бескозырки.

— Ганс Лойден,— прочел на этих лентах Артур Саммер.

Матросы с большевистского крейсера!..



В глубину залива плыл крейсер

Он наклонил голову, решив не обращать на них внимания. Он теперь видел только клеши. Их было много, этих матросских клешей. Они двигались парами, группами... Артур Саммер поднимал голову и опять читал на бескозырках:

— Ганс Лойден... Ганс Лойден...

„Советские матросы? Пожалуйста!— заговорило в нем...—Я буду смотреть на вас. Это очень интересно. Я — экскурсант, и меня интересует всякая деталь жизни чужой страны".

И Артур Саммер, внутренно встряхнувшись, даже с любопытством стал разглядывать советских матросов. Они представляли собой во всяком случае занимательное зрелище. Они были новинкой для него! Нет, они даже удивили его... То представление о большевиках, которое давно сложилось и застряло в его голове, совершенно расходилось с тем, что сейчас видели глаза. Матросы большевистского крейсера прежде всего вовсе не были похожи на зверей. Большевики в матросской форме наоборот казались в полной мере воспитанными, вели себя деликатно, были чисты и вообще безупречны.

Разглядывание советских матросов с точки зрения любопытствующего экскурсанта скоро надоело Артуру Саммеру. Чтобы отвлечь себя от назойливых мыслей, Артур Саммер решил посетить кино. Он купил билет, вошел в прохладный театр, занял свое место. Через две-три минуты в театр ввалилась большая группа матросов крейсера „Ганс Лойден" и заняла почти весь ряд кресел, в котором находилось и кресло Артура Саммера. Но матросы заняли места еще и впереди его, сидели и позади, — он оказался окруженным ими!..

Опять охватило волнение. Артур Саммер призвал все силы, чтобы не сорваться и не покинуть театр. Да, он решил сидеть на месте. Вовсе не следует поддаваться своим настроениям. Надо держать себя в руках... Но почему так долго тянут? Скорее бы потушили свет и пустили картину...

В зале, наконец, погас свет. Побежала картина. Артур Саммер сделал попытку заинтересоваться ею, углубиться в нее, но напрасно. Он никак не мог сосредоточить свое внимание. Он едва понимал, что там происходило на экране. Нервы дергались в нем, шумели. Он тихонько крякал, встряхивался, сжимал кулаки, призывал себя к благоразумию... Нет, ничего не помогало...

Затем случилось что-то такое странное, что очень удивило матросов советского крейсера и других зрителей: солидный господин, спокойно сидевший в своем кресле, внезапно сорвался с места и, ступая по чужим ногам, поспешно бросился к выходу... Господин точно был испуган чем-то или с ним случился какой-то припадок...

V.

То, что Артур Саммер пережил в кинотеатре и что заставило его поспешно выскочить на улицу, заключало в себе элементы полнейшего психоза. Он, реальный политик, материалист, здравомыслящий человек, без всякой видимой причины вдруг взволновался, впал в панику,—он не мог подавить припадка отвратительного страха. Правда, общество матросов-большевиков было в общем мало терпимо, но они были сейчас безвредны. Шагая к дому, Артур Саммер приходил в себя. Собственно ничего такого страшного не случилось. Мир твердо стоит на своих ногах. Южное небо миролюбиво синеет над головой. Земля дружно цветет. Море великодушно посылает прохладу...

Он пришел домой и поморщился: вилла была пуста. Ни души!.. Дома только прислуга. Со стороны кухни неслись голоса,—два женских и один мужской. В приливе неудовольствия Артур Саммер повалился на мягкую качалку. Он поглядел на залив... Крейсер „Ганс Лойден" стоял на том же месте. Крейсер мирно сверкал на солнце, чуть дымя трубами. Вокруг него копошились ялики, лодки,

небольшие яхты. Среди них и лодка с его детьми и Агнессой... Они все любуются... Артур Саммер хрустнул зубами. Одиночество вдруг показалось ему совершенно невыносимым. Захотелось хоть какого нибудь человеческого общества.

— Мария, — крикнул он в сторону, где была кухня.

Никто не отзывался. На кухне шла слишком оживленная болтовня, и горничная Мария не слышала зова Артура Саммера. Зачем он ее звал? Да так... чтобы немного развлечься. Отвлечь себя... Он угостит ее миндалем и финиками. Он повторил зов. Никто не шел на него. Артур Саммер тогда сам пошел на кухню.

Он прошел две комнаты, небольшой коридор и открыл дверь в светлую опрятную кухню. Первое, что бросилось ему в глаза, был матрос! На стук двери повернул голову, покрытую бескозыркой с буквами на черной ленте: „Ганс Лойден".

Артур Саммер, побледнев, несколько секунд не мог оторвать взора от матроса... Глаза председателя суда, ставшие круглыми, в упор уставились в лицо моряка, и тот в удивлении вскинулся и, наклонившись вперед, глядел на него... Артур Саммер пошатнулся, на белом лице его отразился непреодолимый ужас... Затем он резко повернулся и оставил кухню. Слабеющими ногами он пошел в комнаты, сел на ближайший диван, похолодевшими руками закрыл лицо...

Он пережил страшную минуту. Ему почудилось, что он только что видел казненного слесаря Ганса Лойдена в форме советского матроса...

— Не может этого быть...— в тоске пробормотал он. — Не может, не может... Я болен...

— „Ганс Лойден" — прочел на лентах матросок Артур Саммер

На пороге комнаты появилась озабоченная Мария.

— Вам надо что-нибудь, барин? — спросила она.

Нет, ему ничего не требуется. Стараясь быть приветливым, Артур Саммер только спросил: что это за матрос сидит на кухне? Когда это Мария успела с ним познакомиться? Мария ответила, что матрос — старый ее знакомый, земляк.

— Земляк!..— изумленно выкрикнул Артур Саммер. — А где он служит?

— На английском пароходе, барин, — спокойно сказала Мария. —

Пароход этот называется „Джон Пидж".

Артур Саммер больше не задавал вопросов. Он почувствовал сильный жар во всем теле, будто его окатили горячей водой. Грудь сдавило невидимыми буферами.

Мария ушла в кухню. То, что она сообщила ему, было страшнее всего. Вот как! У нее в гостях сидит матрос с английского корабля!..

VI.

Ночью Артур Саммер проснулся и разбудил Агнессу.

— Я сообщу тебе новость, — сказал он ей. — У нас сегодня был в гостях Ганс Лойден.

— Крейсер! — пугаясь, прошептала Агнесса. — Что ты говоришь...

— Нет, не крейсер. Откуда ты взяла? Я еще не сошел с ума. Крейсеры не ходят в гости. У нас был матрос Ганс Лойден. Матрос.

— Какой матрос? — спросила она. Страх ее рос и забивал дыхание.

— Неужели ты не знаешь матроса Ганса Лойдена? — изумился Артур Саммер. — Правда, он с английского корабля, но это не делает разницы.

И он стал пояснять ей. Агнесса слушала, цепенея...

— Ганс Лойден — это страшный микроб, — говорил он. — Это наша смерть. Это — гибель наша... Я возмущен, что этот микроб приплыл за нами... Муссолини сошел с ума. Этот красный крейсер следовало бы угостить торпедой... Тогда от Гансов Лойденов не осталось бы и следа... Да, да, с ними надо бороться всеми средствами... Я завтра обращусь с письмом ко всему миру... Я поставлю на ноги весь свет... Ты подумай только, что нам сулит эта большевистская зараза?!...

— Нам надо отсюда уезжать... — дрожа, проговорила Агнесса.

— Куда уезжать?— выкрикнул Артур Саммер. — Нам некуда уезжать... Эти Гансы всюду... Нам нет спасения от них... Но мы еще покажем себя... Они еще узнают, что такое буржуазия!..

Артур Саммер сжал кулаки и заскрежетал зубами.

Агнесса поднялась рано утром. Она разбудила Арнольда и Берту, рассказала им, что случилось ночью. После краткого совещания решено было увезти Артура Саммера на родину.

VII.

ПИСЬМО, которое написал, обращаясь ко всему миру, Артур Саммер, заключало в себе большую тревогу. Воображению его представлялось, что весь мир находится в опасности. И эта опасность исходит от микробов, называемых Гансами. Их надо уничтожать без жалости.

„Бейте их! — взывал Артур Саммер. — Убивайте всеми средствами! Никакой пощады! Иначе мы погибнем..."

Письмо заканчивалось призывом:

— Все наши силы на борьбу с Гансами Лойденами!..

На пароходе, в полдень покидавшем Неаполитанский залив, Артур Саммер был спокоен и казался вполне нормальным человеком. Он заботился о багаже, — все ли захватили? Он поблагодарил бога, когда пароход стал отчаливать от шумного мола.

— Папа уже выздоровел, — беззаботно сказала Берта.

Вся семья поместилась в уютной комфортабельной каюте... Все ободрились, стали веселыми, как это бывает после благополучно прошедшей грозы. Хорошему настроению способствовала великолепная погода. Море заливало жаркое солнце. Легкий летний ветер нежно встрепывал морскую целину. Пароход, подрагивая, несся полным ходом.

После второго завтрака Артур Саммер прогуливался по верхней и нижней палубе. Он любил заглядывать во все закоулки парохода, зрелище своеобразной морской жизни доставляло ему большое удовольствие. Он спускался в машинное отделение, поднимался на капитанский мостик, его тянуло и к самым топкам, но оттуда

тянуло таким горячим жаром, что нельзя было простоять и минуту.

С полчаса прогуливался Артур Саммер. Затем он возвратился к своим. Лицо его было искажено страхом. Лицо побелело и, как остановками, покрылось темными пятнами.

— Я сейчас встретил Ганса Лойдена...—шопотом сказал он.—Ужасный матрос... он хотел сбросить меня в воду... Я едва ушел от него...

Агнесса и Берта едва не закричали в страхе. Арнольд сжал губы и процедил:

— Мы напрасно поехали морем. Нам следовало бы ехать железной дорогой.

— Теперь поздно думать об этом...— прошептала Берта.

Перед закатом Артура Саммера опять потянуло на палубу. Арнольд и Агнесса сопровождали его. Они усадили его в лонгшез и предложили любоваться закатом.

Артур Саммер был предоставлен самому себе. Ему не сиделось. Он хотел движения. Закурив гаванну, он поднялся и побрел вдоль палубы. Спустился вниз, завернул в какой-то закоулок...

VIII.

По пароходу вихрем пронесся крик:

— Человек за бортом!..

Людская масса взволновалась и бросилась к бортам. Агнесса, кокетничавшая с молодым человеком, похожим на принца, бросилась к тому месту, где в лонгшезе сидел Артур Саммер. Лонгшез был пуст. Агнесса в ужасе вскрикнула...

Капитан мигом застопорил пароход. Быстро была спущена лодка, наполненная матросами. Суматошливо бросили в воду несколько пробковых кругов. Человек, очутившийся за бортом, не утонул. Он бился с невысокими волнами. Матросы, налегая на весла, мчались ему на помощь...

— Держись! — по-итальянски крикнул рулевой.

Лодка приблизилась к погибающему. Ловкий поворот—и лодка поравнялась с ним. Несколько крепких рук потянулись к нему... Еще момент — и утопающий был схвачен и в жалком виде очутился на корме лодки. Матросы резво заработали веслами, направляясь к кораблю. Они были удовлетворены благополучным исходом своей короткой экспедиции. Рулевой счел необходимым сказать спасенному несколько ободряющих слов. Он наклонился к лицу его, матросская бескозырка очутилась очень близко от близоруких глаз беспомощно застывшего пассажира... И тут произошло то, что крайне изумило рулевого и остальных матросов: спасенный вдруг страшно взволновался, непреодолимый ужас сверкнул в его глазах... Он задергался, как проглотивший огромную дозу яда, и внезапно, молниеносно, в жестоком, неудержимом порыве, как сорванный шквалом, рванулся с места, бросился за борт лодки и исчез в шаловливых зеленоватых волнах...

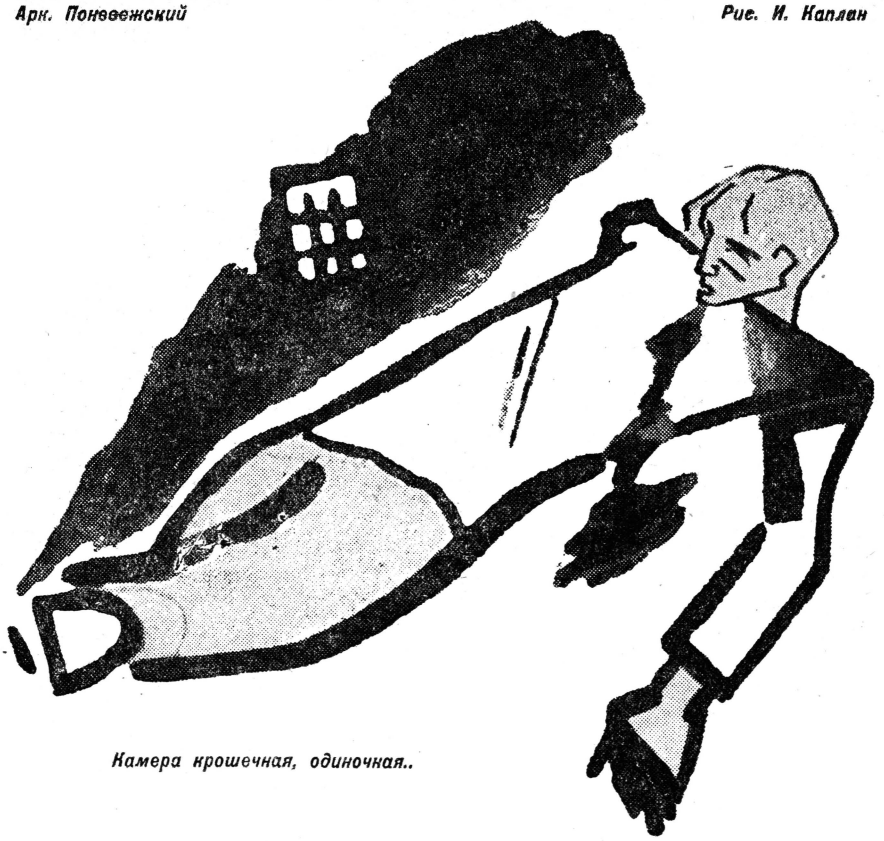
Матросы вскрикнули в удивлении. Они подняли весла и прождали несколько времени, упорно глядя на то место, куда врезалось тело неизвестного им человека... Но нет! Он не показывался из воды...

Матросы вернулись на пароход.

— Упрямый самоубийца, — сказал капитан, выслушав рапорт рулевого.

УНИВЕРСИТЕТЫ ПАУЛЯ ГЕРТИНГА

Арк. Поповежский *Рис. И. Каплан*



Камера крошечная, одиночная..

ЧТО сталось с площадью? Она сначала поднялась, потом стремительно полетела вниз, приняла прежнее положение и закачалась. Горизонтали и вертикали перепутались. Зад разгоряченной лошади отдает потом и яростью. Раздвинулась чья-то апокалиптическая пасть и стала изрыгать проклятия. Огонь. Скрежет. А площадь качается...

Пауль смотрит на стенку. Она кажется проницаемой, и он явственно видит все события. Сквозь муть сознания проталкиваются люди, автомобили, голоса, топот. Кулак бьет сильно и уверенно. Кулак попадает во что-то мягкое и свободно рассекает мясистую щеку. Огонь. И площадь заплясала. Может быть плясала одна лошадь? Или они прыгали вместе—лошадь и площадь?

Какая ужасная боль. Никто не может сказать, что именно болит. Самому ему не разобрать,— болит все: голова, ноги, спина, губы. Губы стали чертовски тяжелыми и раздвинуть их невозможно. Что же болит? Одному не определить...

Камера крохотная, одиночная. За потолком начинается небо. Хорошее апрельское небо. Ах, если б там был верхний этаж, заселенный друзьями! Они могли бы спуститься к Паулю вниз. Они сразу определили бы, что у него болит, и сделали бы все возможное, чтобы облегчить эту боль

И самое главное — с их помощью можно раздвинуть эти свинцовые, ставшие чужими губы.

Жаровни. Да, да, именно жаровни. Это не пол, это жаровни. Потому так жжет все тело. Можно плеснуть холодной водой. Тогда жаровни зашипят и станут влажными и холодными.

Пауль скосил глаза. Вылезло очертание носа, а потом начиналась кровь. Она лежала густой спокойной лужей. Это его кровь. Ведь больше здесь никого нет, значит это кровь Пауля. Долго смотреть, скосивши глаза, трудно. Надо смотреть в потолок. Это конечно тюрьма — Моабит. Мо-а-бит. Он хорошо знает Моабит. После машиностроительного завода Фройнд, после красильного предприятия Гебауэр, которые стоят совсем рядом, будто слились в одно целое, после реки Шпрее, не имеющей совсем набережной, начинается знакомая улица Старый Моабит. И весь район с огромным корпусом турбинного завода Всеобщей компании, с центральной электростанцией, с асфальтовым заводом (там работает Отто), с фабрикой военной амуниции — это Моабит. Беспрерывным горячим пульсом бьется здесь жизнь, большая жизнь в Моабите. Тут же и тюрьма Моабит. И в тюрьме, в одиночной камере, с острой непотухающей болью лежит Пауль.

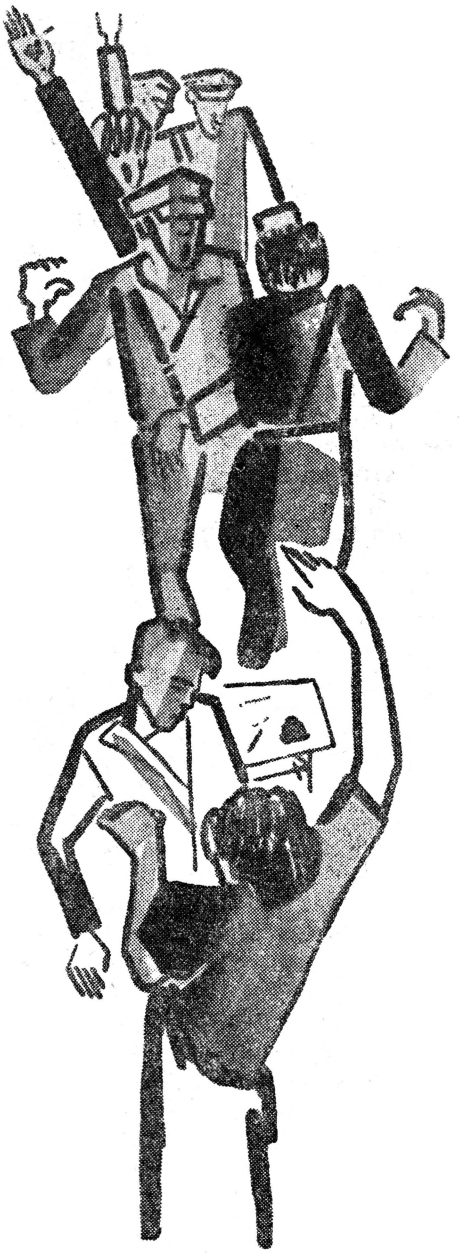
* * *

— Если ты не можешь меня понять, тогда считай по пальцам.

— Хорошо, я буду считать по пальцам.

— Ячейка Руммельсбург требует докладчика на тему „Наши враги". Это — раз? В Штеглице собираются молодые социалисты. Два? В ячейке „Франц Меринг" сегодня вырабатывают план демонстрации. Три?

— Это три, но я тебя попрежнему отказываюсь понимать. Подожди, не бунтуй. Все равно, в ячейку „Франц Меринг" и в Штеглиц тебе в один день не успеть. А ты еще в Руммельсбург хотел успеть? До чего же ты наивен, Фриц. Позвони скорее в ячейку Руммельсбург и скажи им, чтобы они навсегда запомнили: докладчика нужно требовать за три дня. Понятно? Штеглиц придется отложить, надо надеяться, что социалисты собираются не в последний раз. Сейчас позвони в Руммельсбург, а я за это время приму извещения из районов для „Роте



Двое горячо спорили у стола

Фане". Потом мы отправимся с тобой в Нейкельн. Там мы сегодня нужнее всего.

Около крохотного столика, где только что спорили два человека, через несколько минут вырастает рыжая девушка, которая убеждает маленького щуплого парня, обутого в огромные скрипящие сапоги:

— Ты абсолютный идиот.

— Потише, Эльза, потише, руганью обычно не убеждают.

— Что же я могу поделать, если ты все же остаешься идиотом, несмотря на всю свою ученость.

— Эльза...

— Ты немедленно поедешь в Потсдам. Пойми же, что делать доклад на тему о пятилетнем плане советского хозяйства больше некому. У тебя дорога займет полтора часа.—Рыжая девушка вскидывает левую руку и смотрит на часы.—Полтора часа. Это и плохо,— потому что ты опоздаешь на восемь минут,—и хорошо,—потому что ты успеешь дорогой многое обдумать.

Возле этого столика через мгновенье уже собирается толпа ребят из ячеек „Рей и Предль" и „Вулкан-Гаммер". На несколько минут летучее совещание. Нужно срочно решить один вопрос. Решают вполголоса, почти шопотом, так как рядом, у окна, из которого виден почти весь Бюловплац, также происходит совещание на ходу, на несколько минут.

Так начинается и так кончается жизнь на третьем этаже, за углом, в двух небольших комнатках Берлин-Бранденбургского окружкома комсомола. Трудно узнать, когда начинается и когда кончается здесь работа. Она бьет полный день неиссякаемым ключом, всегда с дискуссиями — мелкими и крупными, с перебранкой, с неумолчными телефонами, с напористой рыжеволосой Эльзой, с неорганизованным растеряхой Фрицем, с окном на Бюловплац, с почти разрушенным трехногим столиком. Вверху и внизу, справа и слева от комсомольских комнат такая же полная горячая жизнь. Здесь ЦК компартии, ЦК комсомола, окружные комитеты здесь „Роте Фане". Это — „Дом Карла Либкнехта".

Случается такой день, такая минута, когда умолкает всезнающий пропагандист Адольф, прекращает браниться Эльза, кончаются все совещания. Тогда наступает тишина. Слышно только, как тяжело дышат присутствующие в комнате и кто-нибудь (наверное, Адольф) скрипит сапогами, переминаясь с ноги на ногу. Значит, случилось что-то необычное. Пришло известие об аресте, разогнали демонстрацию, сорвана забастовка? Или?..

Сегодня наступила такая минута. Эрнст принес из ЦК комсомола приказ. Он читает его вслух.

„Приказ берлинского полицей-президиума от 31 марта 1931 года. Центральному комитету Германского комсомола.

На основании параграфа первого, пунктов 1—4 чрезвычайного закона господина президента от 28 марта 1931 года, я запрещаю назначенные комсомолом открытое собрание и митинги от 3 по 7 апреля.

Подпись: Гржезинский"

Эрнст прочел приказ в продолжение одной минуты. Молчание длилось дольше. Нарушила тишину Эльза. Она крепко обругалась, но снова умолкла. Дверь тихо отворилась и в комнату вошел высокий здоровенный парень.

— Добрый день, товарищи. Отчего вы все так приуныли?

Он оглядел всех. Эрнст молча протянул ему приказ. Парень его быстро просмотрел. Как видно, текст приказа на него подействовал ошеломляюще. Он сказал упавшим голосом:

— Будет много крови, товарищи, будут жертвы, будут поражения, но слет все же состоится? Состоится? Не правда ли?

— Мы в этом все уверены,—ответил секретарь окружкома, сидевший в углу на кипе плакатов.—Расскажи-ка нам, Пауль, как дела в Крейцбурге,—сказал он пришедшему парню.

Если бы не злополучный приказ, если бы не тягостное молчание ребят, Пауль влетел бы, как обычно, вихрем в кружкомовскую комнату и с жаром рассказал о делах в Крейцбурге. Он еще недавно в комсомоле. Полтора года он аккуратно и радостно посещал клуб христианского союза молодых людей на Германплац. Там было превосходно, в этом замечательном клубе. Пауль любил клубную купальню. Он изумлял всех своей способностью долго держаться под водой. Любил выскакивать в совсем неожиданном месте и долго отфыркивался, жадно глотая воздух. Любил сидеть в комнате, где собирался музыкальный кружок, и часами слушал. Любил побродить в тенистом саду. Особенно нравились Паулю „пятницы".

В этот день происходили собрания союза. Паулю было приятно, что собирается так много молодых людей и что он также слушает проповедь священника. Самая интересная проповедь была прошлой „пятницей", она называлась „Иисус у нас". Правда, он многого не понимал из того, что говорил священник, но все же это было очень хорошо: все слушают и Пауль Гертинг из Силезии, простой рабочий, также здесь и слушает.

Его разозлили какие-то новые парни, присутствовавшие прошлый раз на проповеди. Когда священник окончил и предложил задавать вопросы, один из новеньких с очень нехорошей улыбкой спросил священника: — Почему господь бог допускает голод и безработицу?

Это было совсем не к месту и не ко времени. Священнику не следует задавать подобных вопросов. И потом эти новые парни стали спрашивать насчет пособия для безработных и (это совсем возмутило Пауля) их вопросами заинтересовались некоторые из союза. Очень хорошо и очень своевременно вбежал с улицы старшина и крикнул: „Только что принесли покойника". Тогда священник объявил: „Помолимся, братья, о почившем"... И все помолились. Так закончилась проповедь.

Но то было семь месяцев назад. Постепенно Пауля стали самого интересовать дерзкие вопросы, которые задавали священнику приходящие в клуб парни. После проповеди он подходил к ним и, хотя ему нужно было итти совсем в другую сторону, Пауль шел с ними и слушал. Парни уговорили Пауля побывать на их собрании и послушать совсем другие проповеди. Пауль согласился и зачастил. У комсомольцев было пожалуй интереснее. У них не было купальни и музыки, но у них были куда интереснее доклады. Паулю растолковали задачи комсомола, цель борьбы, Паулю очень хорошо разъяснили разницу между комсомолом и христианским союзом. Пауль Гертинг понял, что ему не стоит посещать клуб

„Помолимся, братья, о погибшем"

на Германплац с тенистым садом и замечательной купальней. Пауль Гертинг предпочел слушать суровые и бунтарские слова и вступил в комсомол.

Вот уже пятый месяц он ходит сюда, в „Дом Карла Либкнехта" на Бюловплац. Ходит в окружной комитет всегда, когда у него бывает свободное время. Он любит рассказывать о делах в Крейцбурге, о своем районе. Он стоит у двери и, широко расставив ноги, громким голосом говорит. Огромные кулаки помогают ему.

— Дела в Крейцбурге отличные, Отто, — говорит Пауль. — Наши усиленно готовятся к слету. Многие уже договорились со своими родителями насчет квартир для приезжих товарищей. Но демонстрация-то, как видно...

— Ты насчет приказа? — метнулся к нему Фриц. — Можешь быть спокойным, Пауль Гертинг, демонстрация состоится.

— Я понимаю,—замялся Гертинг,— я понимаю, что состоится, только ведь это будет теперь сопряжено... — Он замялся. — Я думаю, что будет много крови...

— Кровь будет обязательно, — закричала Эльза. — А ты ее боишься, что ли? Ах, да, — всплеснула она руками, — я совсем забыла, что христиан...

Она не кончила. Пауль Гертинг, большой парень из Крейцбурга, побагровел, что-то хотел крикнуть, но видимо раздумал. Он круто повернулся и вышел из комнаты.

— Зачем ты, Эльза? — укоризненно сказал Отто.

* * *

Если смотреть на него не с головы, а с ног, он выглядит так: здоровенные ботинки, затем тугие краги из свиной кожи, в краги запрятаны галифе, потом блуза, коричневая блуза с белым кружочком на левом рукаве, на кружке расходится в разные стороны фашистский знак. Ну, а потом, как водится, шея, на шее сидит голова в форменной фуражке, напоминающей французскую. Правая рука задрана вверх. Он произносит какую-то клятву.

Так выглядит он, национал-социалист, гитлеровец, состоящий в штурмовой колонне.

Генеральный штаб партии Гитлера помещается на Гедеманштрассе. Последнее время эта улица, бывшая когда-то одной из спокойных, стала ареной весьма солидных битв. Выход группы Штрассера был предвестником больших бурь, намечавшихся в движении Гитлера. Теоретики, как называл их похожий на киноактера вождь Адольф Гитлер, теоретики, размышляющие над всякими проблемами, не нужны партии национал-социалистов. А они действительно размышляли. И не только размышляли, но говорили вслух, полным голосом о том, что партия Гитлера не имеет ничего общего с пролетариатом, что партия Гитлера — совсем не революционная партия.

Когда взбунтовались фашистские штурмовые колонны, — это уже выходило за рамки благополучия. Это был мятеж. Творцы налетов и убийств обиделись. Им стали платить форменные гроши и перестали уважать лидеров. Они отказались действовать. Из Мюнхена прибыл сам Гитлер, награжденный титулом Христа Капитан Стеннес, вождь заговорщиков, удостоился тогда большой чести. Адольф Гитлер обнял капитана, пролил несколько с трудом выжатых слез, театрально заламывал руки, клялся, божился, что-то делал еще, и кое-как уговорил бунтовщиков. На некоторое время мир был заключен. Сердце вождя застучало снова ровно и по телу разлилось сальце спокойствия.

Тем не менее Гедеманштрассе перестала быть спокойной улицей. Сегодня верные вассалы Адольфа Гитлера выбрасывают из здания генерального штаба приверженцев Стеннеса. На завтра роли меняются.

В здании генерального штаба шум, крики, ругань. Собираются любопытные. Они прислушиваются к доносящемуся из занавешенных окон шуму

и к спорящим кучкам стоящих возле здания, среди которых есть защитники Стеннеса и ярые гитлеровцы.

— Ты еще юнец и ни черта не понимаешь, — раздраженно говорит один другому.

— Что толку в том, что ты старше меня, я ссылаюсь на „Дер Ангрифф", выходит, что она тоже ни черта не понимает, так?

— „Дер Ангрифф" каждый день меняет свои...

— Но, но, потише ты, всеведущий, — оборвал говорившего национал-социалист, одетый в форму штурмовой колонны. — Раскудахтался, будто курица. Не видишь что ли, кругом масса желающих послушать, что говорят в кулуарах партии сами члены партии. Чего ты уши-то развесил, — набросился он вдруг на одного из любопытных, — пора тебе уже домой отправляться, видишь темно стало.

Парень, к которому обратился национал-социалист, долго не решался ответить. А ответить хотелось. Больше кулаками, чем языком.

Национал-социалист подвинулся к парню ближе.

— Проваливай, проваливай, — крикнул он и толкнул парня в грудь.

К его удивлению парень даже не покачнулся. Гитлеровец с любопытством его оглядел. Это был высокий парень, обладающий широкими плечами и здоровенными ручищами. Последнее несколько смутило расходившегося национал-социалиста.

— Впрочем, — проворчал он, пожимая плечами, — если тебе нечего делать, можешь торчать здесь хоть до утра, мне-то, в конце концов, на это абсолютно наплевать, — и отошел в сторону.

Пауль, парень с крепкими руками, благодарил себя за выдержку. Теперь он был очень рад, что не дал этому забияке сдачи. Его бы конечно поколотили, но самое главное, — ему уж не удалось бы постоять здесь и послушать. Ведь это же чертовски интересно. Он не раз слышал про гитлеровцев, но до сих пор ему как-то не удавалось быть возле них так

близко и слышать их распри. Вон там, возле самой двери у входа раскричались три гитлеровца. Должно быть спорят о чем-либо очень важном — подумал Пауль. Делая вид, что просто прогуливается, он старался быть поближе к ним.

— Приказ еще не решает дела, эти негодяи все - таки готовятся. Так и знайте, пасха будет испорчена.—Говоривший сплюнул и, закурив, продолжал. — Я сам сегодня слышал, что над Веддингом будет летать самолет с соответствующими лозунгами.

— Ишь ты, поганое племя, — крикнул один из слушавших.

— А в Трептове и Шпандау уже висят крамольные плакаты и транспаранты.

— Очень хорошо — хотелось крикнуть Паулю. Но он сдержался.

— Значит все-таки дело будет? — спросил до сих пор молчавший, с лихо закрученными усиками, гитлеровец.

— Ого, будь покоен, в пасхальные дни придется поработать. И выбирают же, дьявол их побери, такие замечательные дни для своих слетов.

Гитлеровцы стали прощаться. Пауль решил, что наслушался он вдоволь и пора отправляться домой.

Теперь он окончательно убедился в том, что в пасхальные дни, во время всегерманского слета комсомола, придется драться. Хорошо, драться— так драться. Пауль даст этим свиньям попробовать силу своих кулаков. —Будут жертвы, бормотал он, будет кровь, но будет кровь не только наша...

* * *

Ночью асфальт горит. Автомобильные фары и тысячи уличных фонарей зажигают асфальт ровным сверкающим пламенем. И кажется, будто люди и машины плывут в огненном океане. Ночью асфальт Тиргартенштрассе похож на титанические черные зеркала, проглатывающие все, что по ним движется. Высокие стройные липы уходят вверх и вниз. Особняки и виллы окунулись в этот светящийся лакированный пол. Ночью асфальт горит.

Уже поздно и движение становится тише. За стволом липы стоит парочка. Парень нетерпеливо оглядывается по сторонам. Тупо лениво смотрит на влюбленных и зевнув отвертывается. — Что поделаешь с ними, сегодня, в канун пасхи, прямо надоели эти влюбленные.

Парень заметил, что полицейский не смотрит в их сторону. Он выхватывает из-за пазухи лоскут бумаги, а она быстрым движением проводит по бумаге небольшой кистью. Через две минуты на стене красуется плакат.

И снова нежная парочка виновато смотрит на полицейского уже на другом углу. Плакаты хорошо упрятаны под блузой, а кисть и маленькое ведерко с клеем завернуты в кусок клеенки и все это похоже на обычный пакет. Парочка долго ждет, когда полицейскому наскучит их лирическая сцена и он сплюнув отвернется. Однако на этот раз полицейский оказался очень любопытным и наглым человеком! Он решил посмотреть, как молодые люди целуются в канун пасхи. Влюбленные, увидев, что свидетель и не думает скрывать свою любознательность, — отчаялись и решили действовать при нем.

— Посмотрю, как это они будут миловаться, канальи, при мне,—усмехнулся полицейский. Обнималась парочка довольно долго. Полицейскому это наконец наскучило и он все-таки отвернулся. Стена одного из домов украсилась новым плакатом.

Завтра первый день всегерманского слета комсомола.

* * *

Это все-таки очень трудное занятие—думать. Мысли устраивают в голове настоящие дебри. Мысли скачут вихрем, обгоняют друг друга, собираются в тяжелый клубок и опять разбегаются в стороны. И все это потому, что Пауль предоставлен сам себе. Для него такое наказание пожалуй является самым жестоким. Он не привык оставаться один, он всегда был с коллективом хороших друзей, которые помогали ему понимать и

разбираться во всех событиях. А здесь все время один. В одиночной камере. Сколько дней прошло со дня его ареста? Сейчас это трудно сказать. Ведь сначала была эта ужасная ноющая боль во всем теле. Сначала были чужие губы, которые невозможно раздвинуть. Это главное. Если бы не эта ужасная боль, Пауль считал бы дни, он даже мог считать часы, складывать их, делить, умножать — это не трудно. Но за дьявольской болью стояла черная пропасть неизвестности.

Ему просовывают поесть. Он ест, так как голоден. На стене какой-то философ нацарапал: „Что посеешь, то и пожнешь". Пауль понимает это буквально. А еще ниже: „Мрабит никогда не забуду". — Ишь ты,—думает Пауль, — видно запомнилась она кому-то.

Больше нечего читать. Это все, что написали здесь предшественники. Значит снова нужно думать, думать, думать. Это очень тяжелое занятие— думать.

В памяти опять вырастает этот знакомый радостный день. Запрещенные лозунги рвались из тысяч глоток. Пауль вместе с другими кричал „Рот фронт" и вздымал тугой кулак. Он помнит, как победно соперничали их песни с пасхальным звоном колоколов. Веддинг горел молодостью, знаменами и транспарантами. Разве можно запретить революцию?! Боевые строки не переставали звучать в этот день. „Долой фашизм!" „Да здравствует компартия!" „Да здравствует комсомол!" „Руки прочь от Советского Союза!" Курт произносил замечательные речи. Пауль слушал его, разинув от удовольствия рот. Первый раз за всю свою жизнь он был участником таких событий. Пауль забыл про жертвы, про кровь.

Они уже на площади. Она запружена молодежью. Играл оркестр. Потом стало тихо. Снова говорил Курт. Он бросал раскаленные слова, он призывал всю пролетарскую молодежь Берлина встать под знамена комсомола. Он разоблачал социал-демократов-предателей рабочего класса. Слова Курта прервал выстрел. Потом другой, третий. И грянул залп. Пауль побледнел.—Ага, начинается. Что это?— Он дрожит. Вот чертовщина...

Рядом с Паулем говорили:

— Это наверное провокация, не нужно поддаваться.

Пауль не слушал. Он смотрел в ту сторону, откуда раздались выстрелы. Его кто-то тронул за плечо. — Пойдем, товарищ, ты отстаешь.

Оказалось, демонстрация уже уходила с площади. Пауль увидел отряд здоровых парней, наряженных в коричневые блузы. А еще через несколько минут его сосед упал,обливаясь кровью. Кровь... У Пауля помутнело в голове. Он услышал стоны, крики, выстрелы. Это было, или ему почудилось?

Прямо перед ним стоял человек с фашистским знаком на рукаве. Один или много? Знакомое лицо... Вчера на Геленманштрассе... Или нет?..

Опять кровь. Огромные дома рушатся на его голову, толпа качнулась и закружилась. Рукав с значком поднялся. Как много полицейских... Опять кровь... Жесткий огромный кулак Пауля попадает во что-то мягкое и рассекает мясистую щеку... Кровь... Кровь... Кровь... Но это уже кровь врага. Зад разгоряченной лошади отдает потом и яростью. Хруст, словно ломают какую-то большую кость. Выстрела нет, но есть огонь. Ослепительный огонь...

. . . . . .

Это очень тяжелое занятие — думать.

* * *

— Крепись, дружище, крепись. Эге, как тебя разукрасили, это когда же, а?

— В первый день слета. Теперь уже все заживает. Да мне теперь куда легче. Ведь я все время сидел в одиночной. Вот только третий день, как перевели к вам в камеру. А за что же вас сюда приволокли? Расскажи, товарищ.

— Мы из Фюрстенвальде. Неосторожность погубила. Думали не заметят. А они ведь перед первым мая рыщут по всем углам да закоулкам. После работы собрались в пивной у старого

Генриха. У него для этих целей очень удобная комната. Нас было семнадцать человек. Четырех ты видишь здесь, а тринадцать человек — солдаты рейхсвера. Их запрятали отдельно. Ну, вот. Обсуждали вопрос о подготовке к 1 мая. В рейхсвере у нас есть хоть небольшое, но очень крепкое коммунистическое ядро. Как видно собирались мы не очень осторожно. Приметили нас. Генрих прибежал к нам и говорит: „Орите песни, горланьте громче, может быть подумают, что пьяные сидят". Запели мы. Ничего из этого не вышло. Забрался к нам целый отряд. Обыскали. У двух солдат нашли несколько номеров „Красного кавалериста". Вот и все. Улики были налицо. „Зеленая Минна" [1] доставила нас сначала на Александерплац, а оттуда перевели сюда, в Моабит.

Пауль рассказал рабочим из Фюрстенвальде историю своего ареста. Хотя деталей самого ареста он не помнил. Рассказал про гитлеровцев. Один рабочий засмеялся:

— На Гедеманштрассе теперь уже настоящий мятеж.

Перемирие Гитлера с руководителем штурмовых колонн Стеннесом было очень кратковременным. Гитлеру не подходит такой помощник. Он очень властолюбив, а Гитлер сам ее уважает, власть. Так вот он мирился, мирился со Стеннесом, а сам в это время готовил ему заместителя. Кандидатура была подобрана замечательная. Лейтенант Шульц, отъявленный мерзавец и убийца — как раз такой и нужен Гитлеру. Шульц давно уже готовился к новой карьере. Не раз его автомобиль кружился около генерального штаба на Гедеманштрассе. Однако Стеннес без боя не желает покидать теплое местечко. И события развернулись в нежелательную сторону для Гитлера. Штурмовые колонны заняли здание генерального штаба.

— Смотри-ка, прямо настоящее сражение,—заметил один рабочий.

— Да, дело пошло к расколу. Раскол и есть. Собрание уполномоченных штурмовых колонн отвергло категорически кандидатуру Шульца и заклеймило Гитлера предателем. А это уж не шутка, если у них там такая каша заварилась.

— Заключенный Пауль Гертинг, к следователю!

* * *

Когда идет дождь, — закрываются окна и раскрываются зонты. Но в этот день не было дождя, стояла ясная солнечная погода. Автобусы и трамваи бешено мчались по улицам, гладким и отполированным, расплескивая прохожих. Автобусы и трамваи кончали свои маршруты. Скоро остановится движение.

Окна закрываются в этот день только на главных аристократических улицах Берлина. В Моабите, в Веддинге, Нейкельне, Фридрихсгайне, Шпандау, в Кройцбурге, в Трептове, в Панкове — там раскрыты сегодня все окна настежь, там нынче самый большой праздник, там полыхают красные полотнища знамен с боевыми словами, там бьется в каменные стены радостная песня и собирается ликующая возбужденная толпа.

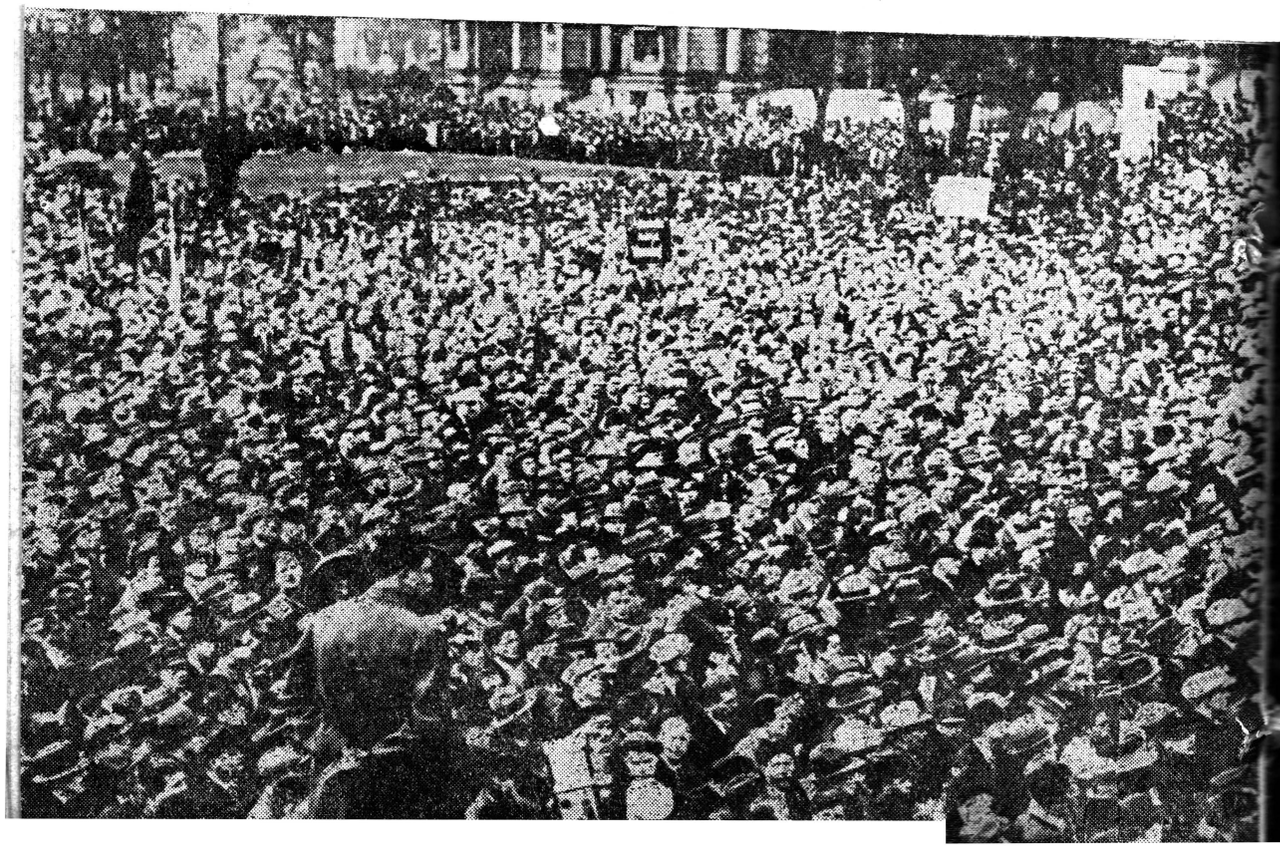
На Потсдамерплац высится большая башня с квадратными зеркальными стеклами. Обычно на вышке этой башни стоит полицейский и выполняет мирную роль стрелочника. Сегодня на вышке нет никого. Сегодня бесполезно регулировать движение. Ибо сегодня будет совсем необычное движение. Это движение невозможно регулировать. Толпа двигалась из рабочих районов грозным гулом, она катилась гигантской лавой, запрудив все улицы и площади. Над головами плыли знамена, транспаранты, лозунги. Сжатый кулак упирался в небо.

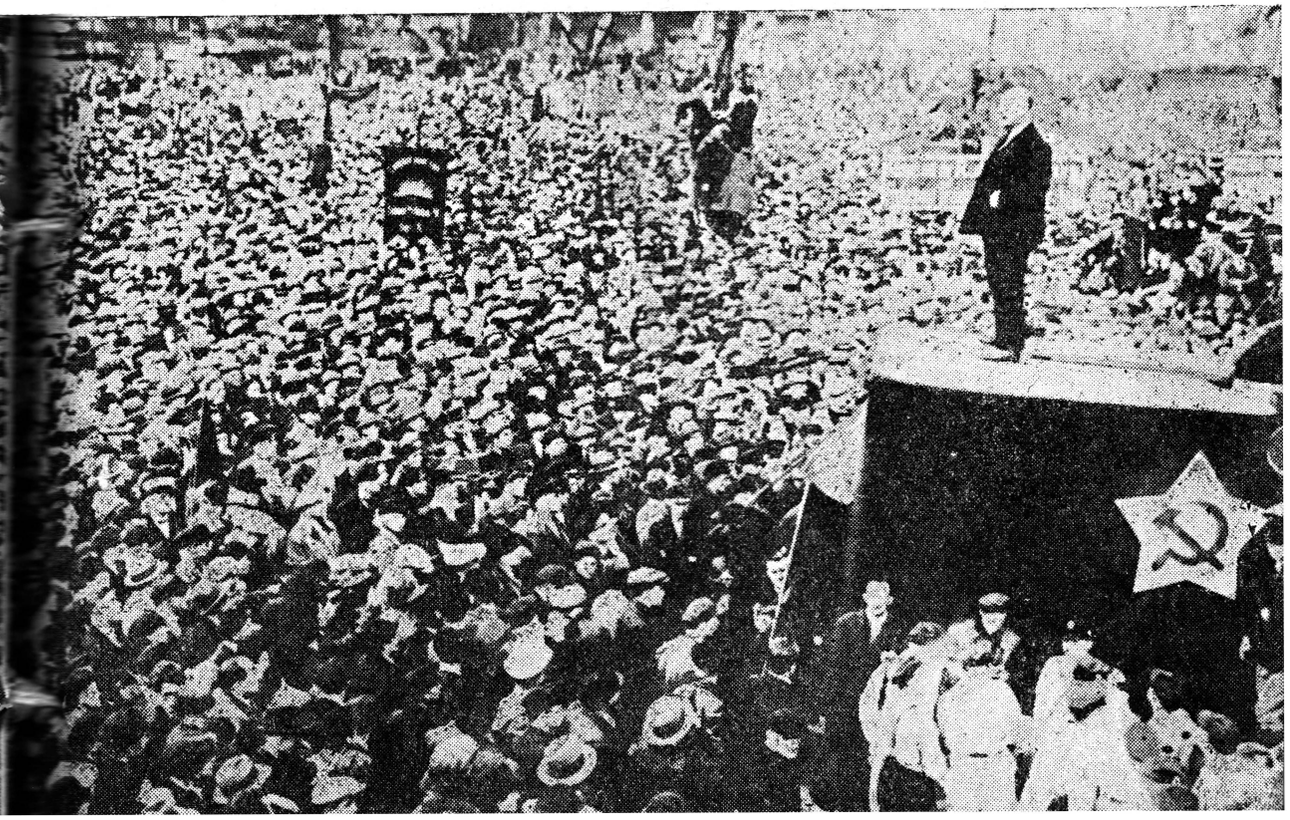
В Люстгартене стоит высокая трибуна. Пятиконечную звезду с серпом и молотом видно со всех сторон. Колонна за колонной движется в Люстгартен. Вокруг трибуны толпы рабочих, детей, красных фронтовиков. На трибуну поднимается человек. Такого громкого и зычного „Рот фронт" еще не слышал Берлин. Человек произносит слова революционной присяги. И мощным эхом тысячи повторяют эти слова.

* * *

Старики угрюмо молчали. В крохотное тюремное окно был виден кусочек голубого неба. Где-то далеко звенела песня. В углу сидел здоровенный парень, уронив голову на руки. Пауль Гертинг плакал.

[1] Автомобиль для перевозки арестованных.





НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

лиценциата медицины Андрея Везалия, уроженца города Брюсселя; друга его Матье Терм, Дюрана д'Эраже, несравненного в красноречии доктора Пьера ле-Карроли, каторжника Тибо Брейль, доблестного рыцаря пресвятой девы и достойного капитана Ла-Мин, великого философа—в Париже и других городах, в тысяча пятьсот тридцать шестом году. *

Сергей Хмельницкий *Рис. И. Ец*

IX.

РЕШИВ еще до света приняться за работу, друзья поужинали по соседству с Сорбонной [1], на улице Пуарэ... Пустели улицы, когда они вышли втроем на бесконечную, как происки епископа парижского, Гран-рю-Сен-Жак.

В разговорах о Кальвине они достигли своего жилища. Еще на лестнице Дюран ощутил дурной запах, напоминавший запах падали. Когда Везалий высек огонь, Дюран, стоя на пороге, порывисто вытянул перед собой руки и вскрикнул.

Пламя факела осветило комнату. В одной из внутренних стен зияла брешь.

— Трупы! — воскликнул Дюран и в ужасе отшатнулся. — Трупы!

Из темноты, сложив руки крестом на груди, выступил знакомый нам доминиканский монах. Его писарь, дрожа всем телом, нес перед ним сальный огарок. Из-за уха его торчало гусиное перо.

X.

НЕБОЛЬШОЕ четырехугольное пространство без окон, без дверей, сообщавшееся с остальным помещением потайным ходом, было завалено трупами.

Из темноты выступил доминиканский монах

Они лежали на полу, разинув рты, с распростертыми руками, точно задыхаясь. Сизые, местами желтые, как хорошо выдержанные окорока.

Они сильно разложились и издавали отвратительное зловоние. От времени или другой причины их эпителий и жировой слой стали прозрачны, как слюда, и сухи, как пергамент. Во рту у них, словно прелые листья, желтели высохшие языки.

Белые нервы и артерии, освобожденные от прилегающей ткани, тянулись на руках, подобно пучкам соломы, по которым проехало колесо.

Руки, ноги, груди, части скелетов были в беспорядке рассыпаны по полу и, зловещие, валялись рядом ножи и топоры.

— Убийство?.. — дрожащим голосом спросил Дюран.

— Убийство! — воскликнул Везалий, выхватывая шпагу. — Убийство! И, клянусь Герофилом и Эразистратом [1], в этой комнате произойдет еще много убийств!

Он сделал выпад в воздухе.

— Здесь будет убито суеверие.

Он проткнул шпагой пустоту.

— Поражены насмерть предрассудки.

Он высоко взмахнул клинком.

---

[1] Факультет богословия парижского университета (впоследствии это название было присвоено всему университету в целом).

[2] Александрийские медики и анатомы, почитавшиеся „отцами медицины".

* Продолжение, см. № 3.

— Обезоружен фанатизм.

Он изогнулся всем телом и вонзил шпагу в пол.

— Попрано невежество.

Служитель святого суда сунул руку за пазуху и сделал шаг по направлению к нему. Везалий остановил его острием своей шпаги.

— У тебя камень за пазухой, простак,— сказал он.—Что ж, обрушь его скорее на меня, как некогда тебе подобные на славного Диодора Сицилийского [1]. Тащи меня к позорному столбу! На плаху! На костер! Это я краду на кладбищах, похищаю с виселиц вылавливаю из рек твоих мертвых братьев, сестер, сыновей. Мой скальпель вонзается в их холодные тела, чтобы открыть мне то, что составляет твою жизнь и счастье.

Он повернулся и стукнул кулаком по столу.

— Я похищаю у небытия тайны существования.

Он скрестил руки на груди.

— Господа, я занимаюсь анатомией.

Все стояли неподвижно. Везалий обратил свой взгляд на шпагу, воткнутую в пол.

— Моя шпага! Ты достаточно хорошо отражаешь и наносишь удары для того, чтобы встречные бакалавры и лиценциаты обходили меня за двадцать локтей и не решались критиковать мои взгляды.

Он вырвал шпагу из пола и швырнул ее в угол с ожесточением (писарь поспешно ее подобрал).

— Ржавей без употребления, глупая полоска стали! У меня есть более грозное орудие. Оно день за днем подрывает основания огромного здания, построенного глупостью, чванством, подражанием, жестокостью и суеверием.

Он подошел к столу и взял в руки скальпель.

— Мой скальпель! — сказал он с нежностью.— Сегодня торжествуют крест и мерзкая тонзура, [2] а ты в пренебрежении... Но завтра...

Голос его загремел.

— Завтра ты победишь!

Матье смотрел на Везалия горящими глазами. Доминиканец улыбнулся учтиво и благожелательно.

— Опыт! — воскликнул Везалий,—опыт, единственный источник и границы истины!.. Что сказать об этих профессорах, которые с высоты своих кафедр повторяют напыщенно, как попугаи, то, что они вычитали в книгах, сами не сделав за всю свою жизнь ни одного наблюдения? Что сказать об этих анатомах, которые от рождения не держали в руках ножа иначе, как за обеденным столом? Самые прилежные из тех, что учат в Салерне и в Монпелье [3], однажды в год, при звоне колоколов в соборе и всех церквах, вскрывают один единственный труп. Эти храбрые люди приступают к вскрытию, предварительно испросив особые грамоты от короля и епископа и усердно помолившись богу о спасении своей души. Притом лица их белы, как плащаница, и скальпели трясутся в их руках, точно они намерены рассекать не трупы, а себя самих.

Доминиканец осторожно кашлянул.

— Именем святой римской церкви,— учтиво произнес он.— Лиценциат медицины Андрей Везалий! Вы арестованы.

XI.

ДОБРЫЙ король Франсуа, отец наук и словесности, в часы, свободные от государственных забот, охот и любовниц, с увлечением предавался карточной игре. Фортуна улыбалась доброму королю и он с удовольствием опустошал карманы своих приближенных.

Вечером девятнадцатого августа добрый король вместе с господином канцлером собрались в одну таверну, которая пользовалась дурной славой и где велись картежные игры. В таверне за круглым столом их ожидал епископ парижский в одежде мирянина, в маске и фальшивой бороде. Секретарь епископа, господин Раблэ, столкнулся в дверях с королем и канцлером.

Монарх и правитель Франции явились в длинных плащах и масках.

— Триста семьдесят экю,— вполголоса сказал король, хлопнув рукой по кошельку.— Тэт-дье [4] дорогой дю-Бур, я надеюсь до полуночи удвоить эту сумму.

— Ради бога, государь,—тихо проговорил канцлер,—будьте осторожны. Эта таверна—самый зловещий притон во всем Париже.

Король и канцлер вошли и сели за круглый стол против епископа.

— Условия игры — деньги на стол!— сказал король.

Раблэ прошелся по комнате и подошел к стойке.

— Пива,— сказал он.

К стойке подошел высокий человек в широкополой шляпе и черной маске.

— Пива! — сказал он.

В это время хозяин поставил перед Раблэ кружку, в которой пенился янтар-

---

[1] Греческий ученый, современник Цезаря. Он был побит камнями за попытку похитить бальзамированный труп, на котором он надеялся открыть способ бальзамирования.

[2] Пострижение, которое принимали католики, вступая в духовный сан.

[3] Старинейшие и знаменитые медицинские школы.

[4] Ругательство.

У стола сидели игроки в масках

ный брассер-рояль [1]. Человек в шляпе протянул руку и завладел кружкой.

— Друг мой,—обратился к нему Раблэ,— эта кружка предназначалась не для ваших уст.

— Ради бога,—прошептал хозяин, хватая Раблэ за руку. — Если вам дорога жизнь, не вступайте в пререкания с этим человеком. Это Гран-Гаяр, гроза парижских таверн.

Раблэ поспешно отошел в сторону, задев при этом плечом другого гостя, в серых чулках и с повязкой на глазу.

— Берегитесь, господин, — прошептал пробегавший мимо трактирный слуга. — Это Лу-Гару, король ночных громил.

[1] „Королевский пивовар" — название пива.

Раблэ в самых учтивых словах принес королю воров свои извинения и поспешно удалился. На всех столах стояли пузырьки с чернилами и лежали гусиные перья для карточных записей и счетов. Раблэ подошел к одному из столов. За столом сидело шесть человек зловещего вида. Один из них, черноволосый, в рыжей маске, вынул из колоды туза и десятку и, накрыв их рукой, объявил:

— Десятка и туз. Платит тот, кому достанется младшая карта. Кто играет?

Вокруг стола собралась толпа. Любопытные глазели на жуликов, но никто не решался вступить в игру.

— Я играю, — сказал Раблэ.

Банкомет поднял руку с картами и, взмахнув ею в воздухе, бросил карты на стол. Раблэ успел заметить, как он ловко передернул в воздухе одну из карт, заменив ее другой, спрятанной в рукаве.

— Клянусь моим животом, — подумал Раблэ. — Теперь на столе лежат две десятки.

Банкомет бросил на стол кошель и сказал:

— Ставлю все содержимое моего кошелька. Тяни карту, добрый человек, — желаю тебе удачи.

Раблэ взглянул на стол и узнал свой кошель. Он изумленно протер глаза и ощупал свой пояс: точно, кошель был отрезан.

Раблэ задумался.

— Если я подниму шум из-за кошелька, меня зарежут, без сомнения. Если я раскрою обман с картами, меня зарежут точно так же. Наконец, если я открою карты и проиграю, то мне нечем будет расплатиться и опять-таки меня зарежут.

Он погладил свою бороду.

— Вандребле! — вдруг пробормотал он и хлопнул себя по животу. — О чем это я думаю, старый осел, за голову которого не стоит дать и половины парижского ливра!

Раблэ открыл карту, заслонил ее своим туловищем от взоров сидевших за столом,

Он убедился в том, что это была десятка. Тогда он согнул карту пополам и стал делать из нее стрелу.

— Что ты делаешь? — спросил его удивленный банкомет.

— Приготовляю стрелу, которой поражу Фортуну, — ответил Раблэ.

Он взял со стола гусиное перо и прикрепил его к карте. Когда стрела была готова, Раблэ сделал два шага и пустил ее в окошко. Карта описала дугу и исчезла во мраке.

Все смотрели на Раблэ с изумлением.

Тогда Раблэ наклонился над столом и подул. Карта рыжей маски перевернулась.

— Десятка! — сказал Раблэ. — Значит, карта, которую я вытянул, была тузом и кошель мой.

И, придвинув к себе добычу, он отошел от стола, оставив жуликов с разинутыми ртами.

Он прошелся по комнате и остановился перед столиком, за которым сидел изящно одетый и бледный человек с провалившимся носом. Сопя и чавкая, он пожирал огромного гуся. Он разрывал гуся на части и грыз его кости. Лицо его выражало ожесточение.

— Дружище Маро!—воскликнул Раблэ.— Как некогда македонский завоеватель нашел в бочке великого Диогена, так я встречаю в этом грязном вертепе величайшего поэта наших дней.

— Садитесь, мой друг,— невнятно проговорил Маро, не оставляя своего гуся.— Поужинаем, как подобает философам.

Раблэ придвинул табурет и сел.

— Ну, мой друг,— сказал Раблэ.— Когда же мы приступим к лечению? В моих банях для вас приготовлено славное местечко. Уверяю вас, что больные не скучают в моем заведении, так как с утра до вечера я рассказываю им мои пантагрюэлические истории.

— Какими же способами вы их лечите, дорогой друг?— спросил Маро, не переставая сопеть, чавкать и жевать.

— Средств всего пять, — начал Раблэ, сгибая пальцы. — Во-первых, обильный пот; во-вторых, продолжительный голод; в-третьих...

— Довольно! — гневно перебил его Маро, не оставляя своего гуся.— Ни слова больше, убийца моего вдохновения! Как!? Вы хотите отнять у меня этого жирного гуся, без которого я не могу подыскать ни одной хорошей рифмы? Этих румяных дроздов, с которых ручьями стекает нежное ванвское масло, питающее мое воображение?

В это время за соседний столик уселся высокий человек в широкополой шляпе и черной маске.

— Друг мой,— сказал Раблэ, понизив голос.—Вот страшный Гран-Гаяр, гроза парижских таверн. Он едва не убил меня.

— Высокий, в длиннополой шляпе? — спросил Маро, продолжая жевать не поднимая глаз.

— Да, мой друг.

— В черной маске, с развязными и наглыми движениями?

— Вантреблё, мой друг,— это он.

— Я знаю его, — сказал Маро. — Это Криспен, старшина судебных писцов.

— Ба! — воскликнул удивленный Раблэ.

Услышав свое имя, старшина писцов съежился и отсел за дальний столик. Вдруг Раблэ наклонился к Маро и прошептал:

— Дружище Маро, на этот раз нам не сдобровать. К нашему столику направляется чудовищный Лу-Гару, король парижских громил.

— Приземистый, с черной повязкой на глазу? — осведомился Маро, не оставляя гуся.

— Увы, мой друг.

— Я знаю его,— сказал Маро.— Это начальник Счетной Палаты Ледюк.

Услышав свое имя, начальник Счетной Палаты вздрогнул и обратился в бегство.

— Вантреблё! — воскликнул Раблэ. — Вот самая странная таверна, какую я когда-либо посещал. Но взгляните, друг мой,— не увидите ли вы вон там за столиком у окна шестерых завзятых мошенников, покушавшихся на мой кошелек? Клянусь моим животом, вон тот, что сидит во главе стола, большой шутник. Однако, я перешутил его.

Маро, прикончив гуся, поднял глаза и, облизывая пальцы, спросил:

— Чернявый, в рыжей маске, справа у окна?

— Да, мой друг.

— Знаю, знаю, — сказал Маро. — Это хранитель королевской печати, господин Бертрандú.

— Ба! — сказал Раблэ.

Маро осмотрелся и лицо его внезапно выразило испуг.

— Дорогой Раблэ,— проговорил он.— Без сомнения звон золота привлек сюда и настоящих разбойников. Взгляните на этих трех человек в масках за круглым столом.

Раблэ расхохотался и хлопнул Маро по животу.

— Вантреблё! — сказал он, поднимаясь из-за стола.— Вы правы, мой друг. Эти люди, без сомнения, величайшие разбойники, которых когда-либо производила французская земля.

Он прошелся по комнате и подошел к круглому столу.

— Ставлю триста экю,— сказал епископ и высыпал на стол золотые.

— Дама,— тихо сказал король канцлеру, открыв карту.

Он высыпал на стол золотые и крикнул:

— Играю!

Вдруг епископ побледнел и карта задрожала в его руке

— Дорогой Раблэ,— тихо сказал он.— Я погиб. Второпях я не разглядел карту и слугу принял за короля. Что делать?

Раблэ подумал и спросил:

— Сколько денег осталось в вашей суме?

— Сто экю.

— Успел ли король выиграть сколько-нибудь?

— Двадцать пять экю, — ответил епископ жалобным голосом.

— Отлично,— сказал Раблэ. (Вантреблё,— подумал он.— Король, входя, признался, что в кошельке его триста семьдесят экю. Следовательно, в это мгновенье на руках у него триста девяносто пять золотых, ни одним более).—Дайте мне вашу суму, и поклянитесь,—сказал он вслух,— что исполните мою просьбу.

— Клянусь, — ответил обрадованный епископ и протянул ему суму,— исполнить все, что бы вы от меня ни потребовали, будь это только в моих силах.

— Дорогой патрон,— ответил Раблэ.— Слуга — плохая карта, если всю ее ношу составляют какие-нибудь жалкие триста экю. Но прибавьте к ним еще сто золотых и слуга постоит за себя.

Он бросил суму на стол и громко объявил:

— Четыреста экю! Напоминаю: условия игры — деньги на стол.

— Пасс! — сказал король и закусил губу.

Епископ, облизываясь, стал сгребать деньги со стола.

— Что могу я сделать, дорогой Раблэ, чтобы отблагодарить вас? — ласково спросил он.

— О, сущие пустяки, — ответил Раблэ, протягивая епископу чистый пергамент.— Всего только один росчерк вашего пера внизу страницы.

— Подумать только,— раздраженно проговорил король, вставая из-за стола,—что мне не хватило пяти экю, чтобы выиграть в восемьдесят раз больше!

Епископ обмакнул перо и расписался:

„Епископ парижский и кардинал католической апостольской римской церкви Жан дю-Беллэ.

„XIX августа, в Париже".

— Завтра мы едем в Италию, дорогой Раблэ. Я велел слугам собрать ваши вещи.

Отойдя за соседний стол, Раблэ начертал на пергаменте несколько строк, посыпал написанное песком и наклонил свечу. Потом он извлек из складок одежды круглую епископскую печать и приложил ее к шипящему воску.

XII.

На дворе епископальной тюрьмы плотники сооружали виселицу. Отец кастелян [1] и важная духовная особа чинно расхаживали по двору, наблюдая за приготовлениями. Важная духовная особа справилась со своим нюренбергским яйцом [2].

— Пять часов,— сказала она.— Убийца должен быть повешен через час. Мне предписано его святостью проследить за исполнением приказа.

Отец-кастелян недовольно пожевал губами:

— Святой Петр! Они во все вмешиваются,— хотят установить часы, блюда, одежду, переделать обычаи... Порядку же меньше, чем было при покойном государе. По прихоти фаворитов и любовниц каждый месяц меняют законы, каждый час — приказы. Поверите ли, монсеньер, что не один уже раз, по повелению его святости, мои люди снимали петлю с посиневшего тела.

— Гм! — неопределенно промычала духовная особа.

В это время ворота растворились и во двор стремительно въехал запыленный гонец. Он ловко спрыгнул на землю и опрометью бросился к кастеляну.

— Приказ, приказ от господина епископа! — прокричал он, доставая из-за пазухи свиток, к которому была привешена печать.

Отец-кастелян, недовольно жуя губами, сломал печать и медленно прочитал вслух:

„Именем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Всем добрым католикам и отцу кастеляну Фор-л'Эвёк привет и благословение. Немедленно освободите из-под стражи лиценциата Андрея Везалия, содержащегося в крепости Фор-л'Эвек.

„Велик Господь.

„Епископ парижский и кардинал католической апостольской римской церкви, Жан дю Беллэ. XIX августа, в Париже".

Начальник тюрьмы и духовная особа посмотрели друг на друга и развели руками.

XIII.

Отец Филезак сидел на пороге лавчонки, окруженный своими кастрюлями. Внезапно кастрюли с грохотом разлетелись в разные стороны, точно у них неожиданно выросли крылья.

— Уф, вы меня задушите, господин лиценциат!.. Скажите, пожалуйста, отчего это сегодня ваше лицо сияет, точно хорошо начищенная медная кастрюля?

Везалий прокричал ему в ухо:

— Я возвращаюсь с того света, отец Филезак! Я возвращаюсь с того света!

Отец Филезак посмотрел на Везалия и поправил очки.

---

[1] Управляющий замком; в данном случае начальник тюрьмы.

[2] Часы, первоначально изготовлявшиеся в Нюренберге и имевшие форму яйца.

Рабле пустил стрелу в окно

— Вот как,— проговорил он.— Сколько же длилось ваше путешествие, господин лиценциат?

— Не больше десяти часов, отец Филезак. Уверяю вас, никак не больше.

И, опрокинув еще с полдюжины кастрюль, он побежал дальше.

Как ветер, он пронесся по мосту Нотр-Дам, рассыпая товар с лотков и сбивая с ног прохожих.

— Ощупайте меня, господин Эскобар! Прошу вас, ощупайте меня поскорее!

Книготорговец поправил вату в ухе. Конечно, он очень стар и слух начинает изменять ему.

— Уверяю вас, я возвращаюсь прямехонько с того света, уважаемый господин Эскобар. Видали ли вы когда-нибудь более веселое привидение?

Господин Эскобар откашлялся, чтобы убедиться в том, что он не спит, и осведомился, есть ли на том свете книжные лавки. Он узнал, что на том свете книжных лавок нет, что там сыро и темно и очень много крыс. Следующий его вопрос был обращен уже в пустое пространство, так как его собеседник исчез так же таинственно, как появился...

Добежав до угла, Везалий едва не сбил с ног доктора канонического права.

— Доктор,— прокричал он, проносясь мимо.— Я возвращаюсь с того света, доктор!

— Жалею, что вы там не приобрели хороших манер, — проворчал доктор права, оправляя свое платье...

На Малом мосту он столкнулся с Варзашем, возвращавшимся из Отель-Дье [1], где он, посещая мнимых родственников, учился распознавать болезни и следить за их ходом. При виде Везалия Варзаш побледнел и стал поспешно вспоминать молитвы, которым его учили в детстве, но не вспомнил ни одной.

— Если ты дух, — сказал он, отступая на шаг,—то скажи,—являешься ли ты из царства света или из царства тени, посылает ли тебя ко мне господь или сатана?

В ответ Везалий так крепко стиснул его в своих объятиях, что кости бакалавра затрещали.

— Уф!—произнес Варзаш, отдышавшись.—Чересчур сильно для бесплотного духа, ма фуа (честное слово)!

Везалий уже скрылся из виду под сводами Пти-Шателэ... В несколько прыжков он был на улице дю-Фуарр. Матье и Дюран не стали его расспрашивать, дух он или нет и возвращается ли он из ада, или из рая. Они просто обняли своего друга и ничего не сказали.

---

[1] Благотворительная больница в Париже.

XIV.

В комнате, наслышанная о происшедшем, собралась чуть ли не вся Медицинская школа. Посередине, в креслах, сидели Гунсерий Андернахский и Яков Сильвий, ласково улыбаясь своему любимому, хотя и дерзкому ученику.

— Гален [1], — говорил Везалий, быстро шагая по комнате.—Гален! Утомительный компилятор; азиатски многоречивый толкователь, разбрасывающийся, растянутый, болтливый; быстро раздражающийся, бранчливый; готовый до земли преклониться перед своими идолами и безжалостный к своим противникам; догматичный, как истый доктор Сорбонны; вооруженный аргументами, как богослов из Саламанки [2]; изобилующий анекдотами и цитатами, не лезущий за словом в карман, — таков, друзья мои и наставники, Гален. Изучая его, перестаешь удивляться, что он в течение четырнадцати веков владычествует над школами и умами. Однако его владычеству пришел конец.

Везалий остановился и обвел взглядом собравшихся. Лица Гунтерия и Сильвия недовольно вытянулись.

— Отважный ум пергамского врача, — сказал Везалий,—искал ответа на загадки, которого не давал опыт. Гений его пытался опередить наблюдение. Его описания частей нашего тела — плод скорее рассуждения, чем исследования. Обстоятельность их и последовательность ввели в заблуждение современников; медицинское воспитание приучило потомков слепо им доверять. Я тоже испытал на себе могучее влияние отца медицины. Я мог бы остановиться на этом: в науках легко и удобно принять эгиду учителя... Но я хотел видеть сам.

Он положил руку на плечо Матье.

— Вот мой друг, с которым мы проводили бессонные ночи на кладбищах. С ним вместе на Монфоконе [3] мы оспаривали свежие трупы у коршунов и собак. С его помощью, с опасностью для наших жизней, мне удалось приподнять занавес, скрывающий устройство человеческого тела. Но едва я приподнял его, как убедился в том, что пергамский мудрец, что этот учитель тридцати поколений анатомов и врачей... — лгун и обманщик!

Наступили торжественные минуты. Присутствующие затаили дыхание. Гунтерий и Сильвий сидели неподвижно, закрыв лица руками. Наконец, Гунтерий порывисто поднялся со своего места.

— Богохульник! — хрипло сказал он. — Благочестие не позволяет мне оставаться дольше в твоем доме.

Он направился к двери. Везалий бросился к нему и с силой удержал его.

— Учитель!—воскликнул он.—Не вы ли еще в Лувэне приучали меня доверять только собственным глазам? Я был самым покорным из ваших учеников.

Он обратился к Сильвию.

— Магистр! — воскликнул он. Не вы ли учили нас любить истину больше Платона? Не вы ли твердили нам: нет исповедания выше истины; нет служения благочестивее, чем служение ей? Я только самый верный из ваших учеников.

Сильвий медленно открыл лицо: оба магистра были бледны; губы Сильвия дрожали.

— Смотрите же! — крикнул Везалий, бросаясь к столу, накрытому грубым холстом.

Он отбросил в сторону холст и, поднимая одну за другой части трупов, рассыпанные на столе, продолжал:

— Похожи ли вот эти мускулы, которые вы все можете видеть и ощупать руками, на описания пергамского врача? Где эти длинные руки, эти тяжелые челюсти (лишенные, по мнению Галена, губчатого вещества); где эта сердечная кость, которая (согласно его описанию) начинается у истока аорты и продолжается до перегородки желудочков? Крестец у человека является следствием сращения шести позвонков. Гален же насчитывает только три. Если довериться его описанию хвостца, следовало бы заключить, что у человека растет хвост, как у собаки или обезьяны. Стернум (грудная кость) у взрослого человека состоит из трех частей, а Гален насчитывает семь.

Поклонники Галена были сильно взволнованы.

— Различия, о которых вы говорите, дитя мое, — проговорил наконец Сильвий, — могут объясняться тем, что со времени Галена род человеческий претерпел вырождение. Где они, — мы больше их не видим,—эти могучие римские груди эпохи республики или Цезарей? Неудивительно, если число костей, составляющих стернум, уменьшилось с семи до трех.

— Описания Галена,—заметил Гунтерий, хмурясь и не поднимая глаз.—могут относиться и к зародышу, а не только ко взрослому человеку, как вы это предполагаете.

Везалий лукаво улыбнулся.

— Ну, а печень? сказал он, роясь в своем анатомическом театре.—Укажите мне это множество лопастей, о котором говорит Гален. На самом деле, как вы видите она состоит из одного куска. А дополнительная лопасть у легкого? А мно-

---

[1] Гален из Пергамы (род. около 131 г. нашей эры) — величайший из врачей древности, учение которого господствовало в Европе до начала XVI ст.

[2] В городе Саламанка (в Испании) помещалась старинейшая и знаменитая богословская академия.

[3] Холм в одном из парижских предместий, на котором помещалась виселица.

Во двор тюрьмы вве . запыленный гонец

жество желез в желудке, которых вовсе там нет? А что вы скажете о непарной вене, которая, как утверждает мудрый Гален, открывается в углублении под самым сердцем?.. Я проследил эту вену до ее истока в чреслах—вот они. А положение сердца, которое Гален определяет неверно?

— Уверяю тебя, дитя мое, — сказал Сильвий, — что во времена пергамского врача люди были много выше самых высоких людей нашего времени и грудные полости их были длиннее.

— Зародыш... — сказал Гунтерий.

— Дорогие учителя! — воскликнул Везалий. — Ваши объяснения могли бы почитаться самыми лучшими плодами на древе разума, когда бы заблуждения врача из Пергамы не объяснялись другими причинами.

Везалий набросил холст на свой анатомический театр и продолжал, обращаясь к Гунтерию Андернахскому:

— Если вы помните, учитель, в Лувэне мы анатомировали не только свинью (по образу диссекций в Монпелье [1]), но также собак, обезьян и белок, а однажды разрезали овцу.

— Помню, помню, сын мой, — ответил Гунтерий. — Но, кажется мне, эти воспоминания уведут вас несколько в сторону.

— Я только хотел, — сказал Везалий, — от души поблагодарить вас за эти уроки, без которых я не сделал бы ни шагу в анатомии. Да будет вам известно, что я продолжал эти диссекции и устройство различных млекопитающих ныне знакомо мне не хуже, чем патерностер [2].

— Дитя мое, — заметил Сильвий, — не уклоняешься ли ты в сторону от предмета нашей беседы? Мы говорили о галеновой анатомии человека.

— Галенова анатомия человека! — как бы задумчиво повторил Везалий. — Но ее не существует. Анатомия Галена есть... анатомия животных, в частности собак и обезьян.

По комнате пронеслось словно дуновение ветра. Все зашевелились. Послышались удивленные восклицания.

— Анатомия собак и обезьян, — с жаром повторил он, — кощунственно выданная им за анатомию человека! Различия, о которых шла речь, суть различия в устройстве животных и человека, неведомые пергамскому врачу, ибо человеческое тело вовсе не было известно Галену.

Гунтерий и Сильвий ахнули.

— Сын мой, — глухо заметил Сильвий. — Едва со школьной скамьи, ты дерзаешь

В комнате собрались профессора Медицинской школы

---

[1] Знаменитая медицинская школа в Монпелье. Почти единственным предметом анатомирования в средневековых школах являлась свинья.

[2] Отче наш.

поднять руку на величественное создание гения, составляющее предмет удивления самых светлых умов. Не прожив еще и четверти века, ты грозишься опрокинуть науку, господствующую вот уже полторы тысячи лет. Скажи, где те многочисленные и объемистые труды, на которые ты можешь сослаться, объявляя наши труды лжеучением? Открыл ли ты, подобно мне, неведомые части мозга?

Везалий скрестил руки на груди.

— Пусть не спрашивают меня, какие открытия я совершил:

я положил начало науке, которой не существовало. Рассекая трупы, похищенные с виселиц и выловленные из реки, я перевернул все досель существовавшие взгляды и проложил дорогу естественному учению о человеке!..

XV.

УНИВЕРСИТЕТ, уведомленный о противоестественных и вызывающих подозрение в ереси средствах, какими лиценциат Везалий приобретал свои познания в медицине, и наслышанный о том, что выводы, к которым привели лиценциата таинственные его занятия, расходятся с учением отцов науки, — постановил собраться ин-корпорэ [1] двадцать третьего сентября, в понедельник, для заслушания объяснений означенного лиценциата, прений и произнесения суда над ним.

Накануне диспута, в дверях кабачка на улице Пуаре, Везалий столкнулся с двумя студентами в духовном платье. Наружность одного из них особенно привлекла его внимание.

Он имел вид паломника или отшельника — ноги его были босы, тело покрывали раны и струпья и из-под рубища виднелись вериги. На вид ему было около сорока лет. Он был хром, плешив и оброс рыжей бородой. Глубокие, как у дряхлого старца, морщины, бороздившие его широкий лоб, и бледные, ввалившиеся щеки свидетельствовали о необыкновенных испытаниях, которым он успел подвергнуться. В юности он несомненно был воином, о чем говорило множество шрамов давнего происхождения. Обветренная, как у моряка, кожа его лица выдавала многочисленные странствия. Тонкие, бескровные губы его были плотно сжаты, словно решившись навек заградить

[1] В полном составе.

дорогу и смеху и стенанию. Словно, пройдя через все горнила судьбы, человек этот утратил все, что составляет радость или печаль, заботу или вожделение остального человечества. Казалось, он не нуждался в утешении друга и жесткое слово врага не могло его обидеть. Он давно отверг все радости плоти и без крика перенес бы все ее терзания. Он, казалось, питал такое же презрительное равнодушие к наслаждениям и мукам других людей, с каким привык относиться к своим собственным. Огромные, синие, в глубоких глазных впадинах, откуда они казались черными, глаза его странно сверкали и подчиняли себе все лицо. Взгляд их не выражал ни любви, ни ненависти, ни жажды славы. Одна какая-то страсть сильнее их всех господствовала. Но, как опытный наездник, объезжая коней, она подчинила себе их пыл, не погасив его. И потому во взгляде этих глаз можно было прочесть и любовь, и ненависть, и жажду славы. Словно все человеческое, подавленное и попранное в душе этого человека, вырвалось через отверстия его глаз с нестерпимым блеском...

Второй студент, высокий широкоплечий юноша, обратился к Везалию с приветливой улыбкой:

— Франсуа Ксавье, — представился он и тотчас же прибавил, указывая на своего спутника:—Дон Иньиго Лопец де-Лойола, мой друг и учитель, рыцарь Пресвятой Девы.

Он указал Везалию на столик, стоявший в стороне от прочих, и, когда все сели, проговорил:

— Осмелюсь ли я осведомиться, сударь, о вашем имени и звании? Поверьте, что я задаю вам этот вопрос не из праздного любопытства, но потому, что ожидаю услышать имя какого-нибудь знатного сеньера, так как ваше благородное происхождение не трудно распознать.

— Мое имя,—ответил Везалий,—Андреас ван-Везель, друзья же зовут меня Везалием.

— Хвала создателю, — сказал Ксавье, переглянувшись со своим спутником, — даровавшему нам счастье встретиться со столь достойным господином.

Бледные губы дона Иньиго зашевелились, но не издали никакого звука.

— Тсс! — прошептал Ксавье, прижимая палец к губам. — Учитель хочет говорить.

Лойола бросил на Везалия неуловимый взгляд из-под полуопущенных ресниц и тихо проговорил:

— Нынешней ночью мне явилась Санта Мария [1], моя госпожа. Она сказала мне: „Иньиго, мой верный рыцарь! Сегодня от тебя отвернулись богословы, тебя осыпают насмешками кавалеры и преследуют епископы и инквизиторы. Завтра ты победишь. Найди друзей среди врагов и врагов среди друзей. Не разбирай средств, — цель их оправдывает. Собственным оружием Антихриста — его одолеешь. Аминь".

— Чем могу я служить вам, господа? — спросил Везалий.

— Помогите нам в деле бога, господин лиценциат, — сказал Лойола, не поднимая глаз.

Везалий, не перестававший следить за рыцарем Девы, успел заметить, что, беседуя, он сидел, благочестиво склонив голову и полузакрыв глаза, но при том искоса наблюдая за своим собеседником.

— Увы! — проговорил Везалий. — Я рад служить вашим милостям жизнью моей и моим кошельком, но если вы надеетесь сделать из меня монаха, то это подобно тому, как если бы вы ждали, что у меня вырастут крылья или перестанет расти борода.

— Дело это не такого рода, как полагает ваша милость, — сказал Ксавье. — Говоря о помощи, учитель имел в виду ваше врачебное искусство.

— Слово врача! — воскликнул Везалий. — Если под делом бога вы разумеете врачевание, то я поздравляю вас и его с таким наименованием... Но прежде всего, благородные господа, прошу вас удовлетворить мое законное любопытство, сообщив мне, кто вы такие.

— Мы братья Иисуса — сказал Лойола. — Нас еще мало и мы повсюду гонимы, но нас будет много и мы победим.

Он взял руку Везалия в свою и продолжал:

— Мы ваши друзья. Не думайте, что мы, подобно невежественной и суеверной черни, презираем науки. Мы не видим никакого вреда для церкви в ваших сочинениях, в которых толпе ничего не понять. Ваше безбожие и разврат пугает нас не больше, чем вас самих, — ибо вас немного и вы не можете увлечь за собой толпу. Поэтому на ваши дела церковь всегда будет смотреть сквозь пальцы. Не вы, любопытные и равнодушные, но те пламенные и упорные, что с молитвой всходят на костры и умирают, не раскаявшись, бичуют святой престол и, увлекая за собой народы, помышляют преобразовать не только тело церкви, но и божественное откровение, — те суть подлинные еретики.

— Чего же вы хотите? — спросил Везалий.

— Того же, что и вы, — ответил Лойола. — Мы хотим разумной и доброй власти, то-есть такой, которая будет нашим послушным орудием. Мы окружим государя просвещенными советниками, а если, обуянный гордыней, он перестанет внимать их мудрым советам, клонящимся к благу народа, то мы поступим с ним так, как подобает поступать с тиранами, врагами человеческого рода.

[1] Святая Мария.

Он приблизил свое лицо к лицу лиценциата и заговорил страстно, обдавая собеседника зловонным своим дыханием.

— Все будет в наших руках: школы, церковь, государственные должности. Мы очистим тело церкви от скверны. Мы завоюем для нее Восток и Запад. Мы захватим в свои руки всю торговлю. Не останется власти на земле, аще не от нас, и папы, и императоры будут нашими послушными куклами. Мы — самые совершенные из воспитателей.

— Поле вашей деятельности, — заметил Везалий после непродолжительного молчания, — весьма обширно, но я тщетно напрягаю свое воображение, выискивая себе на нем какое-нибудь подходящее моему вкусу занятие.

— Лечить бедных больных, — с жаром сказал Лойола. — Лечить их со всем присущим вам искусством. Господин лиценциат, вы нужны нам на святом поприще благотворительной медицины!

У Везалия вырвалось удивленное восклицание".

— Слово врача! — сказал он. — Какие же барыши может принести вам эта благотворительность?

— Эта отрасль нашей деятельности, — ответил Лойола, — представляет выгоды, главным образом, с трех сторон. Первая из них — великая слава, которую доставят нашему ордену наши бесплатные больницы, доступные всем бедным людям и почитаемые за несравненное искусство их врачей. Вторая заключается в воспитательном значении этих божьих домов: не только будем мы лечить наших больных, но также и воспитывать их в соответствии с нашими целями.

Проговорив эти слова, Лойола умолк.

— Ваша милость упоминала о трех сторонах... — заметил лиценциат.

— Третья, — сказал Лойола и в первый раз за время этой беседы пристально посмотрел ему в глаза, — вот она: разумеется, светила медицины, которые будут пользовать больных в наших домах, не оставят без помощи тех несчастных, которые предпочтут принимать их услуги у себя дома... Все в руке божьей, господин лиценциат, и, будь на то его непостижная воля, самый искусный врач не вылечит больного.

В течение нескольких мгновений их взгляды оставались скрещенными, как шпаги. Наконец, Везалий вскочил на ноги и с силой стукнул кулаком по столу.

— Итак, — крикнул он. — Вашему ордену в темных его предприятиях требуются наемные убийцы и отравители и вы предлагаете мне быть одним из них?

— Цель, — сказал Лойола, и взгляд его был ясен, — оправдывает средства.

Везалий запахнул свой плащ и сказал:

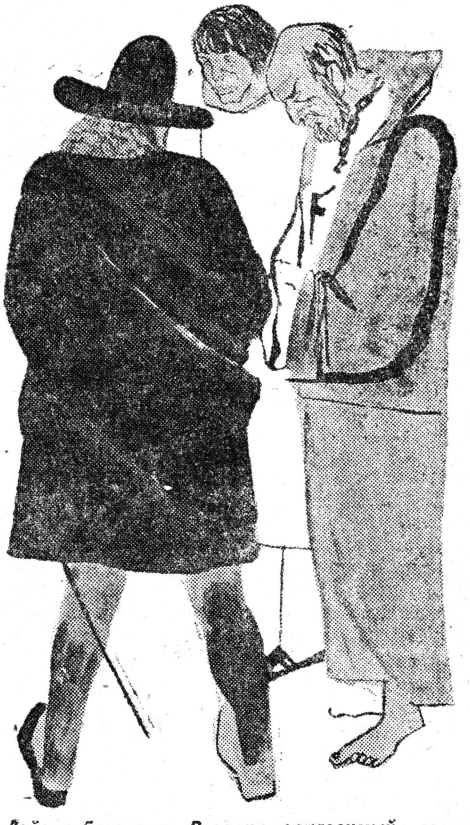
— Я не желаю вам зла и не стану доносить на вас. Но, слово врача, при первых же ваших шагах на поприще благотворительной медицины о ваших преступных замыслах узнает король.

Он повернулся и, придерживая шпагу, направился к двери.

— Вы мало выгадаете от этого, сударь, — спокойно сказал ему вслед Ксавье. — Числится и за вами много такого, за что не гладят по головке господа из Шателэ: участие в глумлении над двумя комиссарами церкви, похищение трупов, незаконное освобождение из тюрьмы...

— Молчи, негодяй! — крикнул Везалий, останавливаясь и выхватывая шпагу.

Франсуа Ксавье смиренно наклонил голову. Везалий яростно погрозил ему шпагой и вышел.



Лойола бросил на Везалия неуловимый взгляд

XVI.

ПОЗДНО ночью у дверей гостиницы „Золотого Кубка", на площади Гренетт в Льоне, постучался странный гость. Он был в длинном черном домино [1] и лицо его скрывал капюшон.

Гость назвался господином Фиштонкан из Салерна. Едва заняв отведенную ему

[1] Длинное одеяние с капюшоном, которое в XV — XVI столетиях употребляли в качестве дорожного платья.

комнату, господин Фиштонкан, несмотря на бурю и ливень, открыл окно, выходившее в сад, и стал производить такой шум и возню, словно в комнате поселилось десять человек.

На утро хозяин, слуги и все постояльцы сделались свидетелями самого необыкновенного происшествия.

Явившись в буфетную в том же таинственном своем наряде, господин Фиштонкан глухим голосом приказал слуге подать ему яичницу из десяти яиц с колбасой, селедку и пинту хорошего вина. Уничтожив все это с жадностью, господин Фиштонкан удалился, не обменявшись ни с кем из гостей ни полусловом... Через три минуты господин вернулся в буфетную. Господин заметно пополнел. Он приказал зажарить для него кусок телятины с яблоками и картофелем. Запив это блюдо полупинтой вина, господин молчаливо удалился. Не прошло, однако, и столько времени, сколько нужно, чтобы двенадцать раз прочитать патерностер, как он снова появился. На этот раз он сильно исхудал и вытянулся в длину на целую голову. Уничтожив трех перепелов, кусок сыру и полторы пинты вина, гость удалился с достоинством... Через пять минут господин Фиштонкан, к возрастающему удивлению всех находившихся в буфетной, снова сидел за столом. Он стал как будто пониже ростом. Он пожирал байонский окорок и заливал его сиверским вином.

Завтрак господина Фиштонкан занял без малого два часа и за это время он успел двенадцать раз проголодаться. Наконец, насытившись после двенадцатого раза, он удалился к себе и больше не появлялся.

Сгорая от любопытства, хозяин и постояльцы послали одного из слуг подсмотреть в замочную скважину, что делает в своей комнате странный господин. Через четверть часа слуга возвратился и рассказал следующее.

Он ничего не видел, так как замочная скважина была завешена чем-то черным. Зато он мог побожиться, что слышал, как господин (который, без сомнения, колдун и чревовещатель) тихо разговаривает на разные голоса, клянется, ругается, задает вопросы и дает на них ответы и обращается к кому-то, называя различные имена.

— Святая Женевьева! — воскликнул испуганный хозяин. — А не слыхал ли ты, о чем говорил господин? Уж не вызывал ли он различными заклинаниями нечистого духа?

— Псамбле![1] — сказал слуга. — Дело, несомненно, обстоит так, как вы говорите, хозяин; только вызывал он не одного, а многих бесов. Притом бесы эти, как видно, из самых простых и захудалых и зовутся Каменщиками, Валяльщиками, Книгопечатниками и Бочарами.

— Святая Женевьева! — воскликнул хозяин. — А не отдавал ли колдун какие-нибудь приказания?

— Сколько я мог понять, хозяин, — ответил слуга, — он приказывал бесам сеять повсюду смуту, не выделывать бочек, не печатать книг и убивать честных людей.

— Иесус! Мария! — воскликнул хозяин. — Жанно, беги, что есть мочи, к господину профосу. Пьеро, беги, что есть духу, к господину инквизитору. Иесус! Мария! Иесус! Мария!

Гости и слуги, одновременно трясясь от страха и сгорая от любопытства (из чего явствует, что все они были французами), тихонько собрались у дверей комнаты, занятой господином Фиштонкан. За дверью царила полная тишина.

— Уж не померещилось ли тебе, малый? — спросил слугу один из постояльцев.

Слуга трижды перекрестился и призвал в свидетели святого Мишеля, своего патрона, что он был в здравом уме и твердой памяти.

— Может быт, он уснул, — заметил другой слуга.

Все притаили дыхание. За дверью не было слышно ни звука. Самый отважный из гостей легонько поцарапал ногтем по двери. Ответа не последовало. Расхрабрившись еще более, гость постучал в дверь — вначале чуть слышно, потом погромче... Так как никто не отвечал, то хозяин с замиранием сердца, шепча побледневшими губами Авэ-Мариа, приоткрыл дверь.

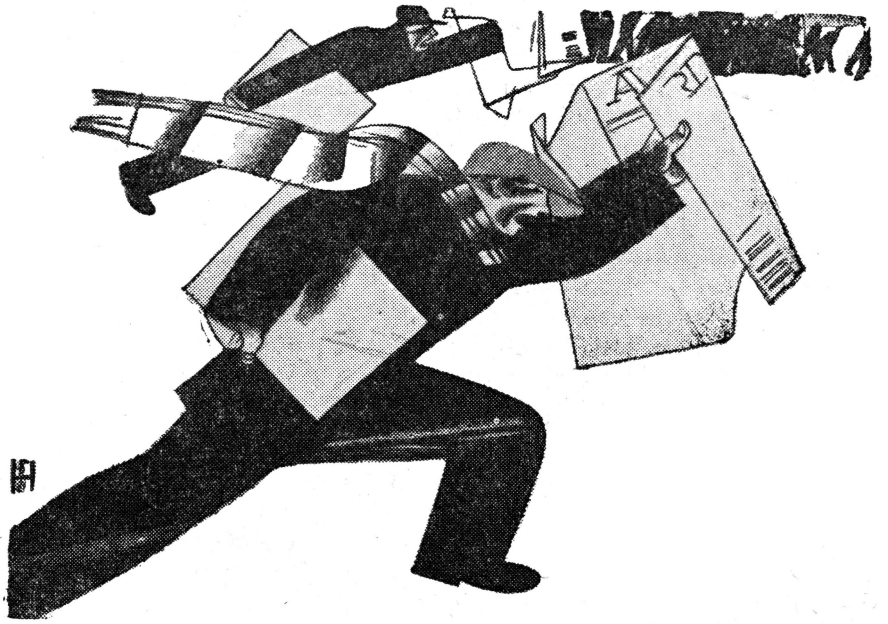
---

[1] Ругательство.

(Продолжение в следующем №).

КРОВЬ НА УЛИЦЕ МИРА[1]

А. Розен *Рис. Б. Нечаева*



Вот уже несколько недель, как Реми работает в „Авангарде".

Странно. Он как-то не представлял себе, что сможет где-нибудь работать, кроме своего завода. Но сейчас он уже привык к новой работе и весь с головой ушел в нее. Реми доволен, что он попал на работу именно в „Авангард". Что может быть увлекательнее, чем работать в комсомольской газете, да еще в самой крупной руководящей газете — органе Центрального комитета комсомола Франции?

Реми заведует массовым отделом газеты. Его задача — установить тесную регулярную связь между низовыми ячейками комсомола и газеты, создать постоянную армию комсомольских корреспондентов, руководить созданными парижским комсомолом комитетами защиты „Авангарда".

А время тревожное! Префект полиции — Кьяпп. А Кьяпп не любит шутить. Аресты членов компартии стали прямо какой-то эпидемией. С молодыми коммунистами расправляются жестоко. За лишнее слово — вон с завода. И все-таки организация растет.

В такое время „Авангард" должен быть на высоте. За это время Реми побывал во многих ячейках. Сколько наказов, сколько пожеланий „Авангарду"! Последний раз в Бельвиле товарищи подвергли „Авангард" жесточайшей критике!

— „Авангард" слишком часто трещит и мало говорит о жизни рабочей молодежи.

— Слишком много голых лозунгов и мало руководства.

— Мало внимания беспартийной, но близкой нам рабочей молодежи.

Реми чутко слушает, что говорят товарищи. Он знает, что все это в основном верно. Да, „Авангард" сплошь и рядом не на высоте.

Фавер — заместитель редактора „Авангарда". Редактора отозвал центральный комитет. Он не справлялся с работой. Фавер не утвержден ре-

[1] Из книги тов. Розена о французском комсомоле, выходящей в изд-ве „Молодая гвардия".

дактором, но он не сомневается, что будет им в ближайшее время. У него дьявольское честолюбие. Реми не нравится отношение Фавера к товарищам по работе. У Фавера всегда высокомерный и к тому же небрежный тон. Разговор — приказание.

Но не это главное. Конечно, нет. Главное то, что Реми не сомневается в неправильности линии, взятой Фавером. Задача Фавера — исправить ошибки, которые были сделаны снятым с работы редактором. А он углубляет их. Реми кажется, что ошибки эти Фавер возводит на принципиальную высоту. Авангардовские „шапки" всегда революционные, очень крепкие, сочные. Но содержание, которое идет под этими „шапками", далеко не всегда удовлетворительно.

Клод — главный литератор „Авангарда" и правая рука Фавера. У него очень острое перо, у этого Клода. Но он поразительно далек от комсомола. Да, как это ни странно, а Клод не знает рабочей молодежи. Работал ли когда-нибудь Клод на заводе? Реми думает, что нет. Его передовые статьи, его фельетоны остроумны и полны желчи. Реми как-то натолкнулся в „Юманите" на такое выражение: „Героика будней". Да, вот этого нет в статьях Клода.

Фавер не любит материала с мест. Нет! У него всегда: „Поручите это такому-то сотруднику, а это — такому-то". Но он хитер, Фавер. Свою линию он ловко скрывает звучной революционной фразой. „Мой лозунг — непримиримость",—любит говорить Фавер. Так ли это?

Клод — тот более откровенен. На прошлой редколлегии он заявил прямо:

— Меня тошнит от того языка, которым пишут ваши корреспонденты, Реми. Хороший язык — вот главное для газеты. Кому интересны мелочи, которые сообщают эти товарищи?

— Вы считаете мелочью, Клод, переход 30 членов социалистического союза в комсомол?

— Это не делает погоды, дорогой Реми...

И все-таки Реми настаивает на своем. Кроме Фавера, Клода и помощника Фавера, Андро, в редакции много товарищей, которые борются против „литературной" линии, за конкретный материал, за повседневное руководство газеты работой комсомола. И их большинство.

Последние два номера „Авангарда" — большая победа этого большинства. Вся третья полоса газеты занята вновь организованным отделом „Так живет рабочая молодежь Франции". На четвертой полосе специальный отдел „Казарма".

Сегодня „Авангард" вышел под лозунгом „Все для войны и почти ничего для школ и социального обеспечения — вот политика Тардье". „Авангард" показывает правительственный бюджет за последние пять лет. Кривая расходов на войну все время делает скачки вверх. Расходы на войну растут.

В подборке помещено письмо группы (52 подписи) солдат Н-ского пехотного полка: „Мы пишем в газету „Авангард", потому что знаем, что ни одна буржуазная газета не поместит нашего письма. Мы задыхаемся в казарме. Казарма хуже тюрьмы. К нам не пропускают ни одной газеты. Упражнения и муштровка занимают 15—17 часов в сутки. Офицеры обращаются с нами хуже, чем со скотиной. Недавно был случай, когда офицер ударил солдата. Нас кормят червивым мясом и похлебкой, которую нельзя взять в рот. Те немногие крохи, которые отпускаются на наше питание, разворовываются интендантским управлением. Недавно у нас в полку была эпидемия тифа и около тридцати человек погибло. Об этом не пишут ни в одной газете. Газеты начнут писать о нас, когда начнется война: „О бравых солдатах Франции, которые защищают отечество". У нас нет отечества и мы не пойдем воевать... Из нас готовят пушечное мясо для войны против СССР, но забывают, что пушечное мясо имеет голову и руки. Когда начнется война, мы откажемся взять в руки винтовку. Ка-

варма многому нас научила. Когда кончится военная служба, каждый из подписавших это письмо вступит в коммунистическую партию или коммунистический союз молодежи".

Чорт возьми! Это письмо должно произвести впечатление! 52 подписи — это не шутка.

Тиф в армии. Почему об этом не пишут в газетах?

В интендантском управлении воровство.

— Ланж,— спрашивает Реми,—как у нас сегодня с распространением „Авангарда"?

— Половину тиража мы пустили в ход сегодня утром, как я договорился с тобой и Монтерье. Упор не на разноску на-дом, а на распространение на заводах и на улицах. Сегодня работало 50 ребят в обеденный перерыв на заводах.

— Вторую половину тиража, — говорит Монтерье, — пускаем в ход через несколько часов. Все номера уже приготовлены и завязаны. Ребятам останется только забрать все это, — он с удовлетворением показывает на аккуратно расставленные пачки „Авангарда".

— Алло, Реми! Алло, Монтерье!

— А, близнецы! Привет, привет!

Это Гуро и Леблан, прозванные близнецами за их дружбу, — оба „заслуженные продавцы „Авангарда".

— Реми, — кричит во всю комнату Люсьен, заведующий хроникой,—наша взяла в Лионе. Старый чорт Луж повысил снова расценки на два франка в день.

— Товарищи, не мешайте работать,—кричит Фавер из своей стеклянной будки.

Что верно, то верно. Шум в редакции всегда невероятный.

Реми, стол которого стоит против двери, вдруг неожиданно бледнеет и вскочив кричит:

— Товарищи!..

— Господа, прошу не двигаться с места.

Полиция...

— Кто у вас главный?

Фавер подходит.

— Приказ господина префекта. Номера вашей газеты конфискуются. Редакция газеты обвиняется в помещении документов, направленных против родины и армии. Приказано произвести обыск.

— Господа, прошу во время обыска соблюдать полнейшую тишину.

* * *

КОГДА хлопнула дверь и последний ажан вышел из редакции, волоча за собой массивный тюк с новенькими номерами газеты, Реми окинул взором комнату.

Погром, погром! Реми вспомнились советские романы, описывающие гражданскую войну в России. Чорт возьми! Махно сработал бы не лучше, чем это сделали флики (шпики). Взломанные ящики столов и шкафов. У одного шкафа совершенно выломана дверца, очевидно лень было возиться. Несколько ящиков вытащено из столов и валяются, разломанные и раздавленные сапогами полицейских. На полу клочья сегодняшнего номера. Старые номера... В кучу свален вытащенный архив... Письма на полу, на подоконниках, на мебели, разорванные, скомканные, просто брошенные. А сколько писем унесено?.. Более двух тысяч корреспондентов имеет „Авангард".

— Сволочи, негодяи! Когда чувствуешь, что бессилен против этих грязных лап... — кричит Монтерье.

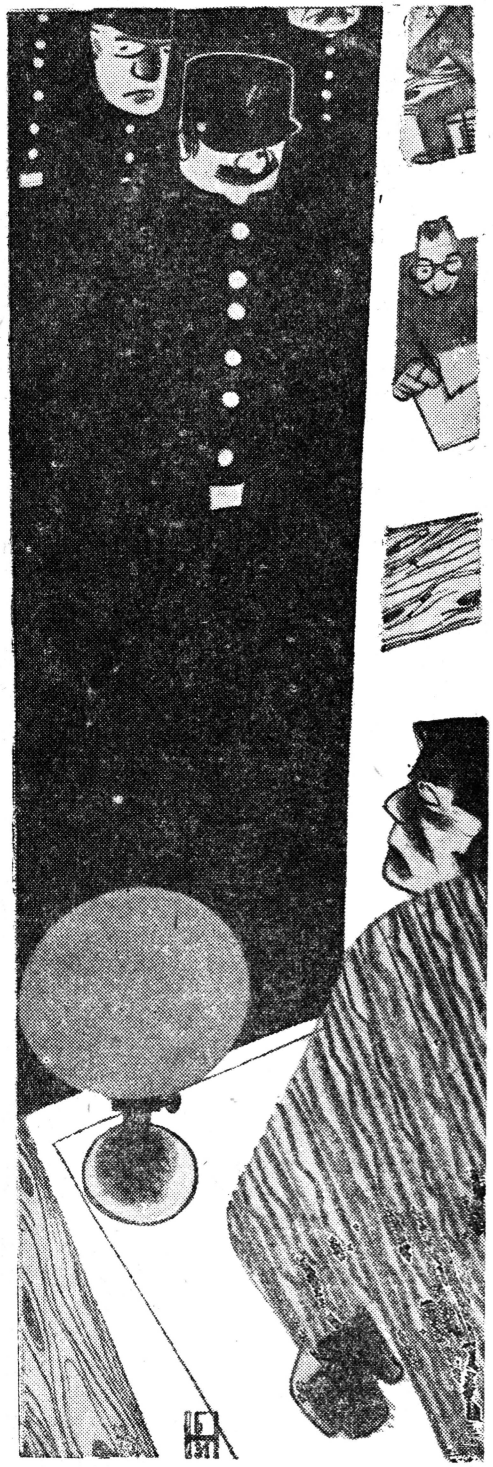
— Использование легальности, использование легальности, вот к чему все это приводит,—цедит сквозь зубы Клод.

Фавер усмехается:

— Надеюсь, что сегодняшний обыск заставит ЦК образумиться. Нет, это ни на что не похоже. Выпускать газету для жандармов в походе за тиражом...

Реми возражает:

— Вы не правы, Фавер. Этот обыск даст новые силы для всех нас. Сильнее чувствуешь себя, когда видишь, на что приходится итти господам Тардье и Кьяппам.



— Приказ господина префекта: номера „Авангарда“ конфискуются

— Может быть, на сегодня достаточно дискуссий, — слышится чей-то голос из соседней комнаты. — Смотрите лучше, что удалось сохранить.

Ба, да это Гуро. О нем забыли. Около него Леблан. Но... смотрите на торжествующие лица.

Реми задыхается от волнения:

— Удалось сохранить номера?!

Гуро говорит:

— Природа пошутила. Леблан должен был родиться ищейкой. Он почувствовал фликов, как только те вошли в соседнюю комнату. Ну, а я не забыл про шкаф в стене. В этот момент мы завязывали номера, чтобы итти продавать „Авангард“. Минута,— и номера были в шкафу.

— Никакой черной и белой магии,— смеется Леблан. — И все знают, в чем дело. Вот видите бутон звонка. Но это не бутон звонка. Будьте добры нажать бутон указательным пальцем — стена открывается — перед вами шкаф. После чего бутон следует нажать снова, и шкаф закрыт.

Клод вдруг рычит:

— Я храню в этом шкафу мою личную переписку. Если вы ее помяли...

— Успокойся старик, — говорит Гуро, — что с ней сделается?

Леблан и Гуро вытаскивают остатки.

— Нескверно, экземпляров 500.

Реми продолжает восхищаться:

— Нет, вы подумайте, какие молодцы. Эти 500 номеров, я полагаю, найдут для себя сегодня покупателей.

Звонок, Рено идет открывать дверь. Вваливается человек пять. Это все продавцы „Авангарда“ и продавцы „со стажем“. При виде следов погрома они останавливаются, как вкопанные.

— И тут были!

Один из них бросается к Фаверу:

— Говорите! Забрали весь „Авангард“? Весь?..

— Через полчаса после того, как стали продавать „Авангард“, полиция начала конфисковывать номер. Усердных лакеев приводила в бешенство первая страница „Авангарда“. „Авангард“ рвали на наших глазах. Выры-

вали газету у покупателей. Кое-кто сумел, конечно, припрятать. Сейчас мы пришли за вечерней порцией. Сегодня ожидается демонстрация рабочих авиозавода Испано.

Реми вскакивает на стул:

— Товарищи! Леблан и Гуро спасли 500 экземпляров. Ни одного номера в руках фликов! Вас семеро продавцов. Каждому по семидесяти экземпляров. „Конфискованный сегодня утром полицией „Авангард"! Что? Это будет не плохо звучать! Товарищи, конечно, вы рискуете...

Фавер раздраженно подходит к Реми:

— Довольно валять комедию. Что могут сделать наши пятьсот номеров? Демонстранты обойдутся без них. Много ли из рабочей молодежи авиозавода Испано читают „Авангард"? А полиция взбесится и „Авангард" закроют на несколько недель.

Реми в недоумении. — Фавер, что вы говорите? Разве вы незнаете, что такое для демонстрантов боевое слово? Ребята, за дело!

Фавер бледнеет от злости:

— Я полагаю, что пока я, а не вы, исполняю обязанности редактора. Номер не поступит в продажу.

Реми выходит из себя:

— Вы не в почтовом ведомстве, Фавер, и оставьте пожалуйста: „Я чином выше, вы чином ниже". События диктуют условия. Вам это непонятно?

Ребята стоят с пачками „Авангарда" в руках. Ждут.

Реми освобождает руку. Он совершенно спокоен:

— Вы что, хотите доставить удовольствие буржуазным газетам описать драку между двумя коммунистами в редакции „Авангарда"? Товарищи, на улицу! К демонстрантам!

Фавер кричит вслед спускающемуся с лестницы Реми:

— Вам это будет стоить дорого, Реми! Вам придется держать ответ перед Центральным комитетом.

Реми вверх:

— Мы оба будем держать ответ перед Центральным комитетом.

* * *

ШЕСТЬ часов вечера. Демонстрация, начавшаяся у заводов Испано и пополнившаяся рабочими из других заводов, далеко продвинулись вперед. Уже перешли Сену...

Гордость парижских пролетариев, авиационные рабочие идут сомкнутыми рядами в обсолютном порядке. Лозунги, лозунги, лозунги...

— Чем больше пухнет военный бюджет, тем больше скудеет наш карман!

— Довольно военных заказов. Мы отказываемся работать на войну!

— Долой правительство убийц! Долой Тардье!

— Требуем освобождения Марти и товарищей!

Марти проведен в депутаты в парламент единым фронтом рабочих Н-ского района Парижа. Рабочие Н-ского района требуют освобождения своего депутата.

Но что это? Почему поспешно закрываются магазины? Почему пустеют роскошные витрины? Почему буржуа спускают шторы и закрывают ставни? В чем дело?

Быть может буржуа вспомнили лето 1927 года, „проклятую чернь" на больших бульварах в Париже и звон разбиваемых стекол? Вспомнили демонстрацию против убийства Сакко и Ванцетти? Или алое полотнище со словами „Да здравствует СССР!" заставляет их прятаться?

Плотный кордон полицейских-велосипедистов окружает демонстрантов. Реми с товарищами настигает демонстрацию. Все семеро продавцов рассыпаются по тротуарам обеих сторон улицы. От головы до хвоста демонстрации. Проходит минута:

— А-а-а-а-в-а-а-а-нга-а-а-а-а-рд! — слышит Реми.

— А-а-а-а-в-а-а-а-нга-а-а-а-а-рд! Сегодняшний номер, конфискованный собаками господина Кьяппа!!!

Нет, так кричать может только Леблан. Что за голос! Сирена? Крик совы? Классический парижский гамен, выросший на мостовой, быть может

„Авангард" конфискованный собаками префекта полиции!

внук парижского гамена 71 года, подававшего ядра пушкарям-коммунарам, но только организованный и дисциплинированный пятью годами работы на заводе и двумя годами в комсомоле.

— В сегодняшнем номере — военный союз Тардье и маршала Пилсудского.

— Из сегодняшнего номера вы узнаете, сколько получает Мажино от заводчиков за военные заказы.

— В сегодняшнем номере...

— А-а-а а-в-а-а-а-анга-а-а-рд!

— Эй, сюда, „Авангард"! — кричат из демонстрации.

Номера „Авангарда" летят по адресу. В ответ на тротуар демонстранты бросают свои су.

Полицейский кордон приходит в движение. Снова конфискованный номер? Они с ума сошли, эти бандиты! Несколько полицейских соскакивают с велосипедов.

Продавцы „Авангарда" ныряют в демонстрацию.

— „Авангард"!..

Полицейские пробуют врезаться в демонстрацию.

— Легче, легче! — кричат рабочие. — В чем дело? Они продают свою газету, маленькие бесенята.

Трое ажанов проскальзывают в демонстрацию. Задние ряды сдавливают их и полицейские „плывут" вместе с демонстрацией. Велосипеды настойчиво пытаются прорваться в ряды демонстрантов.

Б-а-ах! Один из велосипедистов на земле. Смех...

Демонстранты затягивают „Карманьолу".

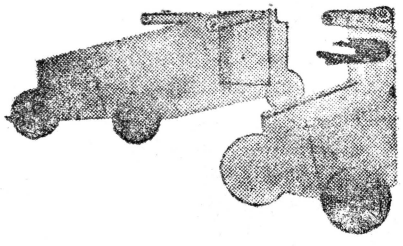
Двое продавцов сталкиваются лбами, снуя в рядах демонстрантов.

— Как дела, Робер? — Осталось два номера. — Чорт! У меня больше: четыре.

Демонстрация подходит к улице Мира. Поворот.

— А-а-а-а-а-а! — вырывается из демонстрации.

Отряд полицейских пересекает путь. Несколько полицейских хлопочут вокруг пулеметов, хитрые мордочки



Показались полицейские броневики

которых устремлены на демонстрантов.

Полицейский комиссар поднимает руку.

— Ни шагу вперед! Господин префект поручил мне довести до вашего сведения, что демонстрация, как не имеющая соответствующего разрешения от полиции, господином префектом запрещена. Господа, расходитесь по домам.

Молчание.

Передняя колонна дружно начинает: „Это есть наш последний и решительный бой!"

Передняя колонна уже в пятишести шагах от полицейских.

Полицейский комиссар машет рукой:

— Огонь!..

Протяжный вопль...

— Товарищи, вперед!..

Передняя колонна надвигается... Свалка... Передняя колонна прорывается через полицейский отряд...

Улица Мира... Медленно, как будто в раздумье, два броневика двигаются по улице Мира.

Демонстранты бросаются назад... Залп...

— Руки вверх!—кричит полицейский комиссар. Руки поднимаются вверх.

Остальная часть демонстрантов бежит кто куда. За ними в боевом порядке бегут с винтовками на перевес полицейские.

Острый взгляд одного из ажанов замечает двух парней с номерами „Авангарда" в руках.

— Стой, мерзавцы!

Куда там.

— Стой...

Это Гуро и Леблан. Резиновая палка ажана настигает Гуро. Другой ловит Леблана. На улице уже ни души.

Полицейский бьет парня палкой по лицу, пока лицо не превращается в кровавую маску. Гуро уже лежит на мостовой и полицейский с остервенением показывает на его спине искусство, которому он научился на манекенах большевиков.

Реми, спрятавшись в подъезде и плотно прижавшись к стене, видит

все это, и кровь кажется вот-вот остановится в жилах...

— Кажется, довольно, — говорит один ажан другому.

Реми хочет закричать. Живы ли они? Он до боли закусывает губу и слезы невольно катятся у него по лицу.

Неподвижные тела Гуро и Леблана лежат на мостовой. Вокруг еще много других неподвижных тел.

Полицейский вынимает портсигар и предлагает другому:

— Закурим!

***

„Матен" от 5 июня:

„Вчера подстрекаемые наемными агентами Москвы хулиганы из Сен-Дени (из них часть работает на авиационных заводах Испано) направились в центр города.

Организованной коммунистами банде полиция предложила разойтись. После последующих действий красных бандитов полиция принуждена была оказать сопротивление".

***

„Юманите" от 5 июня:

„К траурному списку убитых фашистским правительством Тардье во время демонстрации авиационных рабочих, который был помещен в нашей газете во вчерашнем номере, прибавились еще двое. Это молодые продавцы комсомольской газеты „Авангард", товарищи Гуро и Леблан, героически продававшие конфискованный номер „Авангарда" во время демонстрации и избитые полицейскими. Товарищи скончались на следующий день после демонстрации.

Пролетарии Парижа не забудут молодых героев! Парижский комсомол будет продолжать их дело.

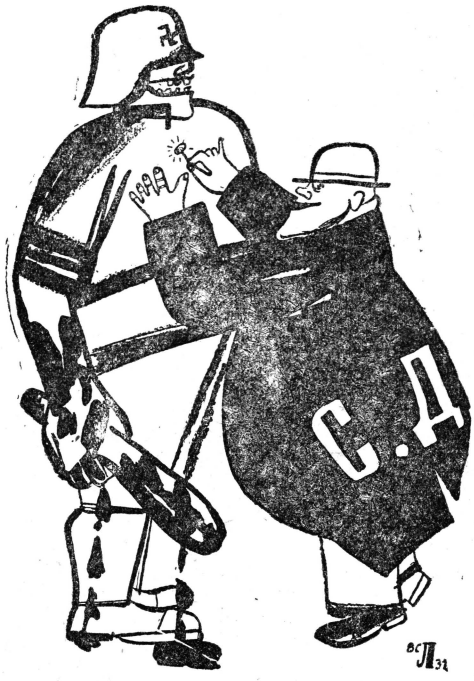
Пролетарии Парижа, организуйтесь в противофашистскую гвардию.

Долой правительство Тардье!

Против антисоветской войны!

Пролетарии, в компартию — на штурм капитала!

ОРДЕНА ГИТЛЕРА



ОНИ маскируются с большой старательностью. Они маскируют свою службу у крупного капитала громким политическим ярлыком — национал-социализмом — и даже объявили широкую программу реформ. Делается это для того, чтобы привлечь на свою сторону широкие массы.

Программа ведь только вексель. А сейчас, когда по векселям не платят, случается, и виднейшие банки, стоит ли задумываться о политическом векселе?

Но звериную сущность, несмотря на все программы и маскарадные названия, не всегда спрячешь. Иногда в какой-нибудь мелочи она прорвется с большей наглядностью даже, чем в сложных парламентских махинациях. Вот яркий по своей обнаженности пример. Орган национал-социалистов „Восточный немецкий наблюдатель" по случаю освобождения рейнских провинций от оккупации сделал следующее предложение:

„Всех детей, рожденных немкой, которая была изнасилована, следует убивать. Точно так же следует убивать детей, наружность и приметы которых указывают на то, что отцом их был негр или принадлежащий к дальневосточной или среднеазиатской расе. Этих детей следует убивать, чтобы помешать порче немецкой расы приливом дурной крови и низких духовных инстинктов. Матери же этих ублюдков должны быть сделаны бесплодными. Только дети от отцов, принадлежащих к северным народностям, и особенно дети от солдат—англичан оккупационной армии, должны жить".

Как гармонирует этот звериный рык с разгромами коммунистических организаций, подлыми убийствами из-за угла, с еврейскими погромами. Да ведь это наша знакомая картина царской России.

Кстати, не за эти ли погромные заслуги перед „социалистической" партией гитлеровцы основали орден Гитлера в виде булавки. Вниманию дам! Дамы получают булавки для шляп! Орден, как во всех хороших домах, имеет пять степеней: большой золотой, малый золотой и т. д. вплоть до бронзового. Словом, каждому по заслугам.

За убийство, очевидно, большой золотой, ну, а бронзовый — для шпаны, за мелкие услуги. Вот он без ретуши, истинный образ национал-социализма.

НАЕМНЫЙ КОРОЛЬ

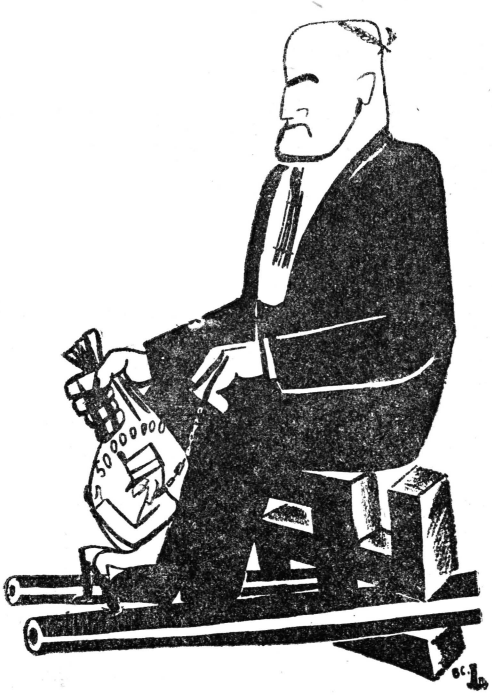
КАК это ни странно, но в центре Европы находится страна, меньше изученная, чем какой-нибудь отдаленный штат Бразилии. Это Албания. Только в последние годы Албания стала обращать на себя внимание, главным образом, как плацдарм для будущей войны.

Из-за Албании идут жаркие споры. Албания по своему географическому положению имеет огромное значение, как плацдарм для будущей войны Италии с Югославией. Лежащая на берегу Адриатического моря Албания давно привлекала внимание Италии, стремящейся встать твердой ногой на Балканах.

Овладеть Албанией значит для Италии осуществить старую идею об обращении Адриатического моря в итальянское озеро. Ведь от берегов Албании до Италии расстояние в некоторых местах не превышает 70 километров. Таким образом, Италия получает возможность, занимая оба берега Адриатики, контролировать сношения между портами Югославии и внешним миром, главным образом, с Францией, и не пропускать подвоза из Франции военных припасов в Югославию.

Итальянские империалисты, как известно, добивались на Версальском конгрессе мандата на Албанию. Но конгресс

который вообще мало считался с Италией, обошел ее и в этом. Однако, Италия хотя и вынуждена была снять оккупацию, все-таки посредством дипломатической игры и, главным образом, подкупа албанских феодалов успела стать



твердой ногой в Албании. Своим ставленником она сделала Ахмеда-Зогу, крупного феодала, заключившего с Италией договор „О дружбе и военном союзе", по которому Италия приняла на себя обязательство сохранять порядок в Албании. Иначе говоря, Италия стала гарантом диктатуры Ахмед-Зогу и тем самым взяла на себя обязательство по финансированию дефицита Албании.

Албания — страна бедная. Север ее представляет часто непроходимые горы со скудной растительностью. Населяющее ее племя гогов сохранило совершенно первобытный родовой уклад жизни. Южная часть, более плодородная и богатая, захвачена крупными помещиками, которые держат в рабстве крестьянское население. Промышленности нет никакой, кроме мелкой кустарной. Невежество чрезвычайное. 95 проц. неграмотных. Такая страна ничего не может вывозить. То немногое,—оливка, шкуры, шерсть, — что добывается в стране, все это уходит на внутреннее потребление. В небольшом количестве вывозится только асфальт. Естественно, что торговый бюджет Албании пассивен, и пассивность его с каждым годом увеличивается.

Дефицит албанского бюджета покрывается из итальянской казны, которая, кроме того, предоставила Албании заем в 50 миллионов франков, целиком ушедший на постройку стратегических шоссейных дорог, ведущих к границе Югославии. Крестьяне центральных и северных областей в принудительном порядке рекрутируются для постройки этих дорог.

Ненависть народа, обираемого феодалами, королевской властью, к королю — ставленнику итальянцев — растет, и король вынужден жить затворником в своем дворце в Тиране и выезжает только в бронированном автомобиле. Всякая оппозиция в стране подавлена. Выходящие газеты не смеют слова сказать в разрез с официальной догмой. Единственно, где бессильными оказываются король с его полицией и жандармами,— это в деле борьбы с коммунистической пропагандой. То-и-дело стены Тираны оклеиваются листовками и воззваниями коммунистической партии. Даже стены самого дворца Ахмед-Зогу нередко украшаются такими воззваниями.

Издатель — Издательство „Молодая гвардия" Отв. редактор С. Гисин

Типография „Красной газеты" им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57.

Ленинградский Облгорлит № 16011. ОГИЗ—п. 50—1132/л. Заказ № 1851. Тираж 60.000 экз.—5 л.

ПЕРИОДСЕКТОР КНИГОЦЕНТРА
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

КОМСОМОЛ и ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Боевой орган и рупор комсомола и каждого комсомольца о борьбе за электрификацию Советского Союза.

20 №№ в год. Подписка на 1931 г. принимается с № 8. Подписная цена на 6 мес.—1 руб.

Отдельный номер—10 к.

ПИОНЕР

Боевой общ.-литературный журнал пионеров и школьников. Орган ЦК ВЛКСМ и ЦБ ДКО.

36 №№ в год. Подписка на 1931 г. принимается с апреля мес. Подписная цена до конца года—3 руб., на 6 мес.—2 руб., на 3 мес.—1 руб.

Отдельный номер—15 к.

ВОЖАТЫЙ

Руководящий журнал по теории и практике детского коммунистического движения.

36 №№ в год. Подписная цена на год—4 руб., на 6 мес.—2 руб., на 3 мес.—1 руб.

Отдельный номер—15 к.

КОЛХОЗНЫЙ ВОЖАТЫЙ (б. Деревенский В.).

Руководящий журнал по работе пионер-организации в деревне.

24 №№ в год. Подписная цена на год—2 руб., на 6 мес.—1 р., на 3 мес.—50 к.

Отдельный номер—10 к.

СМЕНА

Массовый иллюстрированный лит.-худ. и обществ.-политич. журнал рабочей молодежи.

36 №№ в год. Подписка на 1931 г. принимается с июня мес. Подписная цена: на журнал без приложений: до конца года—2 руб. 85 к., на 6 мес.—2 руб., на 3 мес.—1 руб. На журнал с приложениями: до конца года—4 р., на 6 м.—3 р. 50 к.

Отдельный номер—15 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех магазинах, отделениях и киосках КНИГОЦЕНТРА, у комсомольских организаторов подписки и на почте повсюду.

„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
ПЕРИОДСЕКТОР КНИГОЦЕНТРА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1931 г.

С мая месяца и до конца года.

На двухнедельный литературно-художественный и публицистический журнал рабочей молодежи.

„ЮНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“

ЖУРНАЛ в живой, увлекательной форме рассказывает о жизни и борьбе комсомола.

ЖУРНАЛ знакомит читателей с творчеством советских и иностранных революционных писателей.

В каждом номере журнала фельетоны, очерки по злободневным вопросам комсомольской работы, стихи, рассказы и т. д.

При журнале издается 2-х недельная газета комсомольской сатиры и юмора.

ЖУРНАЛ дает своим подписчикам приложение — 8 литерат.-художественных книг по злободневным вопросам комсомольской работы.

НА ДНЯХ ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ №№ 7—8.
Цена 30 коп.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЙ:

До конца года	1 р. 90 к.
На 6 мес.	1 „ 40 „
„ 3 „	— „ 75 „

С ПРИЛОЖЕНИЯМИ:

До конца года	4 р. 80 к.
На 6 мес.	3 „ 60 „
„ 3 „	1 „ 80 „

Отдельный номер — 15 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех магазинах, отделениях и в киосках КНИГОЦЕНТРА, у комсомольских организаторов подписки и на почте повсюду.